

- "МРАМОР"  
(новая пьеса Иосифа Бродского)
- "ОБЗОР ПЕЧАТИ 1998 ГОДА"  
(фантазмагория Л. Ицелева)
- "МЕНАХЕМ БЕГИН КАК З/К И КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЛИДЕР"  
(размышления М. Хейфеца)
- "МЫ ВСЕ ЕЩЕ ЯЗЫЧНИКИ!"  
(горькие письма из Москвы Ф. Лыкова)
- "В РОССИИ У НАС БЫЛА ИДЕОЛОГИЯ!"  
(очерки П. Вайля и А. Гениса)
- ЗАГАДКА ГИТЛЕРА В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХО-  
ЛОГИИ

32

22

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

---

Год издания VI

№ 32

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- ИОСИФ БРОДСКИЙ. Мрамор (пьеса в трех действиях) . . . . . 3  
ИЗРАИЛЬ ТЕПЛИК. Мальчик с оккупированной территории (рассказ) . . 60  
МАРК ЗАЙЧИК. "Именем революции" (рассказ) . . . . . 65  
ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ. Поминки по живым (стихи) . . . . . 83  
СОВРЕМЕННАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ (в переводах В. Кукуя) . . . 85  
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. Три стихотворения с посвящениями . . . . . 92  
ЛЕОНИД ИЦЕЛЕВ. Обзор печати (рассказ) . . . . . 95

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Менахем Бегин и НКВД СССР . . . . . 108

### РУССКИЙ ВОПРОС

- ФЕДОР ЛЫКОВ. Письма из Москвы (окончание) . . . . . 133  
ПЕТР ВАЙЛЬ и АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Потерянный рай (главы из книги,  
окончание) . . . . . 146

### УРОКИ ИСТОРИИ

- УИЛЬЯМ КЕРР Загадка Гитлера . . . . . 161

### ОЧЕРКИ и ВОСПОМИНАНИЯ

- КЛАРА ПРУСЛИНА В поисках новых имен. . . . . 173

### ЛЮДИ и КНИГИ

- В БОГУСЛАВСКИЙ. Новая Иудея. Ю. ВИНЕР. Хочется освободиться.  
Я АШКЕНАЗИ Еврейская энциклопедия на русском языке. Э. КАПИТАЙ-  
КИН Последняя любовь Маяковского. М. АГУРСКИЙ. "Эманим" ("Време-  
на") . . . . . 201

### ПУБЛИКАЦИИ

- ПЕРЕК МАРКИШ Михоэлсу неугасимый светильник (с предисловием  
Э Маркиш) . . . . . 211

## **ПИСЬМА**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| ПИСЬМА ИЗ РОССИИ . . . . .                        | 218 |
| И. ЗЕМЦОВ. По поводу письма М. Агурского. . . . . | 220 |

*На последней странице обложки: А. Я. Брускетти-Митрохина  
"Портрет художницы Новодворской" (к статье К. Пруслиной)*

---

## **ИЗДАНИЕ**

**общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР**

**главный редактор — Рафаил Нудельман**

**Редакционная коллегия:**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>В. Богуславский</b> | <b>Ю. Меклер</b>     |
| <b>А. Воронель</b>     | <b>Н. Рубинштейн</b> |
| <b>Н. Воронель</b>     | <b>М. Хейфец</b>     |
| <b>Э. Кузнецов</b>     | <b>Я. Цигельман</b>  |

**И. Чаплина**

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор  
технический редактор — Наталья Рубина  
ответственный за выпуск — Нелли Гутина

**Всю корреспонденцию направлять по адресу:**  
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

**Телефон редакции — 03/394525**

**Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей  
журнала:**

**Соединенные штаты**

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Ca. 93950. USA  
A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y, 10036.

**Западная Германия**

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR  
L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

**Великобритания**

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

**Типография "Дерби"**

**Тель-Авив**

**1983**

# ЛИТЕРАТУРА

Иосиф Бродский

## МРАМОР

### Акт 1-й

*Второй век после нашей эры.*

*Камера Публия и Туллия: идеальное помещение на двоих: нечто среднее между однокомнатной квартирой и кабиной космического корабля. Декор более Палладио, чем Пиранезе. Вид из окна должен передавать ощущение значительной высоты (скажем, проплывающие облака), поскольку тюрьма расположена в огромной стальной Башне, примерно в километр высотой. Окно — либо круглое, как иллюминатор, либо — с закругленными углами, как телеэкран.*

*В центре камеры — декорированная под дорическую колонна, или опора: внешняя сторона ствола, внутри которого — лифт. Ствол этот проходит через всю Башню, как некий стержень или ось. Он и в самом деле стержень: все, появляющееся в течение пьесы на сцене, и все, с нее исчезающее, появляется или исчезает через находящееся в этом стволе отверстие, являющееся помещью ресторанного лифта и мусоропровода.*

*Рядом с этим отверстием — дверь главного лифта, которая открывается только один раз: в начале 3-го акта.*

*По обе стороны ствола — альковы Публия и Туллия. Все удобства — ванна, стол, умывальник, нужник, телефон, телеэкран, вмонтированный в стену, стеллажи с книгами. На стеллажах и в стенных нишах — бюсты классиков.*

*Полдень.*

*Публий — мужчина лет тридцати-тридцати пяти, полный, лысеющий, прислушивается к пению канарейки в клетке, стоящей на подоконнике. Со времени поднятия занавеса проходит минута, в течение которой слышно только пение канарейки.*

**П:** *Ах, Туллий! Как сказано у поэта, что, должно быть, слышит в Раю Господь, если здесь, на земле, нас ласкают такие звуки.*

*Туллий — лет на десять старше Публия, сухощавый, поджарый; скорее блондин. В момент поднятия занавеса лежит в ванне, из которой поднимается пар, читает и курит.*

Т: (не отрываясь от страницы) . У какого поэта?

П: Не помню. Кажется, персидский.

Т: Варвар. (Переворачивая страницу) .

П: Ну и что ж, что варвар?

Т: Варвар. Армяшка. Черный жоп. Вся морда в баранине.

*Пауза: пение канарейки*

П: (подражая птичке) . У-ли-ти-ти-тюю-у...

Т: (доворачивает кран: шум льющейся воды) .

П: У-ли-тит-ти-тюю-уу... Туллий!

Т: Ну?

П: У тебя от пирожного ничего не осталось?

Т: Посмотри в тумбочке... Свое-то, небось, сожрал. Друг животных.

П: Я, Туллий, понимаешь, совершенно случайно. Я не хотел. Пирожное было так неожиданно. Поэтому я и не мог его хотеть. Я как раз хотел его оставить. Вернее, уже потом, когда съел, захотел. То же было так внезапно! Сколько сию, сроду пирожных не видел.

Т: И уже не увидишь. Этого, по крайней мере.

П: Да? Почему?

Т: Читай инструкцию. (Швыряет книгу на пол, потягивается в ванне). У них там компьютер. Составляет меню. Повторение блюда возможно раз в двести сорок три года.

П: Почем ты знаешь?

Т: Я сказал: читай инструкцию. Там все сказано. Том шестой, страница тридцатая. Буква "П" — Питание... Советую ознакомиться.

П: Я не мазохист.

Т: Ну, мазохист ты или нет, а пирожного, душка Публий, ты больше не увидишь. До конца своих дней. Если только ты не Агасфер.

П: К сожалению... То есть, что я?! к счастью.

Т: Залезь в тумбочку. Бедная канарейка...

*Публий направляется к алькову Туллия, открывает тумбочку, роется в ней; извлекает кусок пирожного, смотрит на него некоторое время; потом неожиданно быстро съедает.*

Т: (возмущенно кричит, вылезая из ванны). Что ж ты, сука, делаешь! Это же для канарейки! (Внезапно успокаиваясь.) Впро-

чем, так я и думал. Вечно одно и то же. (залезает обратно в ванну). Сначала киску уморил, потом рыбок. Потом зайчика. Теперь, значит, за канарейку принялся...

П: (взволнованно). Это неправда, Туллий! Я не хотел...

Т: (приподнимаясь на руках из ванны). А ты подумал, что птичка, может, никогда и не видела пирожного?

*Публий, совершенно подавленный, бредет к окну, стучит пальцем по клетке.*

П: У-ли-ти-ти-тюю-у...

*Канарейка безмолвствует.*

У-ли-ти-ти-тюю-у... Что же теперь делать, а? Подождем до обеда, а? (Разговаривает сам с собой.) Хотя обед — что ж — у них там всегда что-нибудь такое-деликатесы — чтоб желудок действовал — ни разу не было, чтоб не захотелось — это чтоб мы жили дольше — сколько сижу, ни разу еще запора не было — да-а-а, компьютер — выпустить тебя, что ли? (Пауза.) Туллий!

Т: Ну чего?

П: Может, выпустить ее, а?

Т: Давай.

П: Но с другой стороны, она ведь поет.

Т: Иди в жопу.

*Пауза: Публий подходит к телефону, снимает трубку, набирает номер.*

П: Господин Претор? Это Публий Марцелл из 1750-го. Тут у меня, знаете ли, птичка. Да, канарейка. Так вот, нельзя ли там проса или конопли... Да-да, лучше проса. Что-о? Включите в вес моей порции? То есть, второе будет на сто грамм меньше? Но позвольте... Ах та-а-к! Да. Отказываюсь. (Бросает трубку.) Черт!

Т: В чем дело?

П: Гадский лифт!.. Работает, видите ли, на определенных режимах. Ни больше, ни меньше... Говорит, споловиню второе. Претор. Сука.

Т: Варвар. Армяшка. Черный жоп. Вся морда в баранине.

*Пауза: пение канарейки*

Т: А что у нас нынче на второе?

П: (нажимая кнопку пульта в изголовьи своей постели и быстро сверяясь с текстом на экране) . Петушиные гребешки.

Т: С чем?

П: С хреном.

Т: Н-да.

П: Раз в жизни.

Т: Садисты.

П: Особенно претор.

Т: Претор ни при чем. Все дело в лифте. Вниз — дерьмо, вверх жратва. В строгой пропорции. Вечный двигатель... Хотел бы я только знать, с чего начали.

П: То есть?

Т: Что было раньше? Курочки или яйца?

П: Это самое я и спрошу у Господа. На Страшном Суде.

Т: Варвар.

П: Я пошутил.

Т: Все равно варвар. Все клерикалы варвары. Даже сомневающийся. Дай телефон.

П: Пожалуйста. (Передает трубку Туллию.)

Т: Алло. Господин Претор. Это Туллий Варрон из 1750-го. Зачем вы посадили мне в камеру варвара? Он верит в Бога. Вернее, не верит. Но тоже в Бога. Куда смотрел Комитет? Этот человек не римлянин. Да, произошла ошибка. Нет, больше жалоб нет. Ах вот как! Господин Претор, вы — говно. Я буду жаловаться в Сенат. Да, изыщу способ. (Вешает трубку.)

П: Что он сказал?

Т: Ничего, говорит, не поделаешь. Исповедание, говорит, не критерий. Как и отсутствие оного.

П: А что — критерий?

Т: Физическое присутствие, грит, в пределах Империи, плюс отсутствие альтернативы. То есть, если больше податься некуда. Согласно, грит, последнему декрету, распространяется на млекопитающих.

П: Я же тебе сказал, что он сука.

Т: Нет. Претор тут ни при чем. Это все штучки Калигулы. Думает, что если он тетка, то может... Плюс Комитеты тоже совершенно разложились. В Сенатскую комиссию по гражданским правам ввели лошадь. Сеяна Буланного. Я не спорю: наш Сенат всегда

был самый представительный. За всю человеческую историю. Должен же кто-то, наконец, защищать интересы животных... Но гражданские права! Буланый утверждает, что данные вычислительного центра, полученные при Тиберии, устарели.

П: То есть?

Т: То есть, то есть!.. То есть, было установлено, что во все времена — при фараонах, в Греции, в Риме, в эпоху христианства, у мусульман, у косоглазых — ну и так далее — что во все времена под замком находится примерно 6 процентов населения. Правда, в эпоху позднего христианства процент, вроде, был втрое выше. Но если раскинуть это дело на всю человеческую историю, выходило примерно 6,7 процента на каждое поколение.

П: Ну и не так уж чтобы навалом...

Т: Столько, сколько надо... И на основании этих данных Тиберий раз и навсегда установил у нас количество заключенных. Вот подлинная реформа правосудия! Да? Но Тиберий пошел еще дальше. Эти самые 6,7 процента он сократил до 3-х процентов. Потому что у них там были разные срока в ходу. У христиан, например, червонец популярен был; четвертак тоже. Тиберий вывел среднее арифметическое и, отменив смертную казнь, издал указ, по которому мы все...

П: То есть, эти 3 процента?

Т: Да, по которому эти 3 процента должны сидеть пожизненно. Независимо от того, натворил ты делов или нет. Своего рода налог. Сенат его, натурально, поддержал, и комиссия по гражданским правам организовала комитет, который как раз следит за тем, чтоб не возникло системы в арестах. Так теперь этот Сеян Буланый мутит воду и настаивает на пересмотре данных вычислительного центра.

П: Каким образом?

Т: Понятия не имею, каким образом. Просто ржет... (Имитирует конское ржание.) Гражда-аа-аа-аа-анские... Пра-аа-аа-ваа... (Пауза.) У них же там везде электронные интерпретаторы. Отходы космических программ. Черт бы их подрал.

П: А он что считает, процент должен быть выше или ниже?

Т: Понятия не имею. Скорее всего, ниже: играет в либерала.

П: Ну, это не так уж плохо.

Т: (кричит). А что в этом хорошего? Что в этом хорошего?

П: Ну — как?.. Просторней все же будет... А то напихают всякого дерьма...

Т: Да ведь если не напихают, то все равно — дерьма! И кому нужен простор — в камере. Подумай сам! Простор — в камере. Не путай с частной квартирой.

П: (задумчиво). Это легче легкого: превратить квартиру в камеру. И камеру в квартиру.

Т: Вот именно!

П: Ну-ну, Туллий, не нервничай. Вряд ли Сенат его послушает.

Т: (мрачно). Очень может быть. Он же воевал в Ливии. Заслуги. Кроме того, они там все на либералах отключаются... Калигула так тот просто кипятком ссыт, когда слышит, как его лошадь витийствует.

П: Кто — кипятком? Он — или его лошадь?

Т: Какая разница! Где моя тога?

П: Там, где ты ее бросил (Тычет пальцем в сторону алькова Туллия.) Если ты уже все, не спускай воду. (Начинает раздеваться.) Если я что и экономлю, так только время... Что же до помешательства, то весь Рим помешан на своем водопроводе. Верней, замешан. Думаешь, не понимаю? Тибру давным бы давно крышка была, пользуйся мы его услугами. Водопровод наш тем и замечателен, что количество воды в нем постоянно! От Тибра независимо. Физика! Сообщающиеся сосуды! Все дело в системе фильтров. (Забирается в ванну к Туллию.) Как сказано у поэта: "Дважды в ту же струю не ступишь". Чепуха. Очень даже ступишь. (Наслаждается.) А-а-а. ... Аква... АшДваО... Заметь: не больше и не меньше... Разве что испаряется... Или когда вытираешься... И то вряд ли... Ведь полотенце потом в стирку идет — и вытертое-то возвращается... убежден, что наша башня еще и водонапорная..

Т: Говорят.

П: И убежден, что кто-то — когда-то — в этой воде — уже мылся. Что-то чувствуется в ней... не то, чтоб родное — знакомое.

Т: Может, и Калигула в ней мылся.

П: И Тиберий.

Т: И Сеян...

П: Если б фильтры говорить умели... (Пауза.) И моя жена в ней мылась... И твоя.

Т: Что ты хочешь этим сказать?

П: Да нет, не это... И дети тоже. Вода — везде вода. Что в квартире, что в камере. Сообщающиеся, говорю, сосуды.

Т: Для кого — сообщающиеся, для кого — нет.

*Пауза*

П: Странное это дело. Туллий: я же знал, что это может случиться. Еще когда был ребенком — знал. Все мы знаем. Тем более, что мой отец не сидел. И дед тоже. И все-таки не предполагал. Завел семью, детишек...

Т: Ну-ну, Публий... Это же значит только, что комитет наш на высоте.

П: (изумленно). Это — как?

Т: А так, что сажают только после того, как произведешь потомство. Примерно как раз, когда жена уже надоедает. Когда вообще уже почти все смысл теряет. Когда слово "пожизненно" смысл приобретает. Не раньше... Компьютер все-таки...

П: Н-да. Техника...

*Пауза*

Чего читаешь-то?

Т: Горация.

П: Ну и как?

Т: Классик. Разве что чересчур восторженный. Как все предки.

П: Бюст, что ли, его заказать?

Т: Тем более, что кормить не надо.

П: А канарейку куда?

Т: Выпустим. А то от голода сдохнет. Либо — от воздуха разреженного.

П: Жалко.

Т: Жалко выпустить или жалко, что сдохнет?

П: И — и... Выпускать тоже. Полетит, понимаешь, на все четыре... то есть, триста шестьдесят... Лишние мысли опять же... Мы-то тут — до конца дней. Нас-то, вишь, никто не выпустит. Для нас тут — жизнь. Смысл. Чего ж ей-то надо. Она ж тварь, у нее даже мозгов нет, клюв один... Жалко выпустить.

Т: Так ведь сдохнет.

П: А мы — нет? Мы, Туллий, тоже. Нас кто пожалеет? А? Она, что ли? Чем? У нее, говорю, и мозгов-то нет... А и были б, так сколько? На нас двоих их бы хрен хватило...

Т: Не веришь, значит, в миниатюризацию...

П: Не в том дело... А мы ее пожалеем. И, с другой стороны, поет.

*Пауза*

Т: Когда ты сдохнешь, я тебя пожалею. Если все дело в размере, по-твоему.

П: (обнимая Туллия) . Пожалей лучше сейчас...

Т: Не лапай!

П: Лучше сейчас пожалей, Туллий!

Т: Прими руки, кому говорю.

П: Так я ж ничего...

Т: Ничего? А это чей член? У тебя эрекция (Вылезает из ванны.)  
Где моя тога?

П: (устраиваясь поудобнее в ванне) . Вот цена твоим словам. "Пожалею". Как же! Знаю я, как ты меня пожалеешь. Меня — в мусоропровод, а на мое место — какого-нибудь кретина. Я — вниз, он — вверх.

Т: А лифт только так и работает. Принцип весов. Символ правосудия.

П: (продолжая свое) . Будешь с ним лясы точить... Может, даже это... за бока хватать... Молодой если... Главное — главное ведь дерьмо же какое-нибудь будет... сам говоришь... пастух там или диктор... Но ты обо мне уже ни хрена не вспомнишь... Вроде как и не было. С глаз долой, из сердца вон. Так сказать, переменим простыни.

Т: Вот это — точно.

П: Ну да, так спокойнее. Инстинкт самосохранения плюс ухватки стойка. Что, впрочем, одно и то же. При полной поддержке со стороны Претора. И когда полностью самосохранишься, тут-то тебя в мусоропровод и затолкают.

#### *Пауза*

Т: (кутаясь в тогу) . Все там будем.

П: Ну да, понимаю. Ты — выше этого.

Т: Главное — чтоб процент соблюдался.

П: Гражданин, Опора государства. (Пауза.) Дерьмо собачье.

Т: Сам ты дерьмо. Варвар. Может быть, даже христианин. Смерти боишься. Какой ты римлянин!? Семья, детишки... Жопа! все это варварство, понял. Тоска по свободе! Что ты знаешь о свободе? Бабы, и все. Предложи тебе сейчас гетеру харить или на койке гнить — ты бы что выбрал?

П: Гетеру, понятно.

Т: Ага, вот видишь! Для тебя тут есть разница. А разницы нет,

Публий! Разницы нет. Дни идут! Все дело в том, что дни идут. Чем бы ты ни занимался, ты стоишь на месте, а дни идут. Главное — это Время. Так учил нас Тиберий. Задача Рима — слиться со Временем. Вот в чем смысл жизни. Избавиться от сантиментов! От этих ля-ля о бабах, детишках, любви, ненависти. Избавиться от мыслей о свободе. Понял? И ты сольешься со Временем. Ибо ничего не остается, кроме Времени. И тогда можешь даже не шевелиться — ты идешь вместе с ним. Не отставая и не обгоняя. Ты сам — часы. А не тот, кто на них смотрит. ... Вот, во что верим мы, римляне. Не зависеть от времени — вот свобода. А ты варвар, Публий, грязный варвар. И я б убил тебя, если б не знал, что на твое место тотчас пришлют другого, может, еще большего варвара. Даже теперь, когда в Комитет приняли Сеяна.

П: (переворачиваясь на бок в ванне). Тогда что ж... может, мне с собой покончить, а? На римский манер: прямо здесь, в ванне. Как Сулла.

Т: Все равно пришлют. (Пауза.) Сам знаешь: лифт.

П: Елки-палки.

#### *Пауза*

Т: Как сказано у поэта: "Постум, Постум, увы, Бегут летучие годы..."

П: Кто это сказал?

Т: Гораций.

П: Елки-палки. Передай-ка мне телефон.

Т: Пожалуйста.

П: Господин Претор? Это Публий Марцелл, из 1750-го. Будьте любезны, бюст поэта Горация к нам в камеру. Да, Горация. Горация. (В сторону, Туллию.) По буквам...

Т: Гомер, Овидий, Рамзес, Ахилл...

П: Гомер, Овидий, Рамзес, Ахилл.

Т: Цезарь, Иегова, Язон.

П: Цезарь, Иегова, Язон... Да, Квинт Гораций Флакк. Что? Много ли места займет? Какая разница, г-н Претор? Да, тюрьма есть недостаток пространства, возмещенный убытком времени... Да, чем раньше, тем лучше. А что вниз?

Т: Шахматы.

П: А вниз шахматы... Премного благодарен, господин Претор. (Вешает трубку.) Сука этот Претор. Невежда.

Т: Хорошая должность.

П: Чем же?

Т: Ну... болтать по телефону. Всего и делов.

П: Н-да. Тысяча сестерциев. Все казенное. Забот никаких. Знай плодись да за компьютером присматривай. Дурак я, что не нанялся, когда была вакансия.

Т:: Все равно бы не взяли.

П: Это почему?

Т: У тебя ж в роду никто не сидел. Таких на государственную службу не принимают. Претором, сенатором, консулом может стать только человек, у которого... чьи предки побывали в Башне. Хоть в четвертом колене. На кой Риму чиновник, которого в один прекрасный день... И подумай сам: какой из тебя сенатор, если у тебя в перспективе — Башня?

П: Что да, то да.

Т: Одно утешение: дети в люди выйдут. (Пауза.) Сына-то как называли?

П: Октавианом.

Т: Звучит... Быть ему претором. Или сенатором. Может, даже консулом станет. А то, глядишь, и принцепсом. Красивое имя — залог успеха. Пол-дела. Молодец был Тиберий, когда запретил святцы. Ну, какой принцепс из Федота? Или хуже того — Стэнли? Это же курам на смех. То ли дело — Октавиан!.. Так же хорошо, как Тиберий. Я своего старшего Тиберием назвал.

П: А младшего?

Т: Тоже Тиберием. И среднего...

П: (задумчиво). Что ни говори, большой был человек Тиберий. Где бы мы все были, если б он империю не придумал...

Т: ... и столицу бы в Рим не переименовал. Гнили бы понемногу. Задворки Европы.

П: Ну, это уже кое-что. (Пауза.) Как погода?

Т: (подходя к окну и заглядывая вниз). Низкая облачность. Ни черта не видно. Облачность... Может, в Риме сейчас дождь.

П: Посмотри градусник.

Т: (не меняя позы). Наш или наружный?

П: Наружный.

Т: Плюс десять по Цельсию.

П: Холодновато.

Т: А какая тебе разница? Градусник-то наружный.

П: Не имеет значения. Все равно — градусник. (Пауза.) Не-

ужели дождь сейчас в Риме?..

Т: Тебе-то что?

П: Я римлянин... Хотя бы уже потому, что тут нахожусь...

*Пауза*

Т: Все мы теперь римляне. (Глядя на градусник.) Зачем только они его сюда повесили. Садисты.

П: Когда я воевал в Галлии, к нам однажды в когарту бордель привезли. Так бандерша ихняя, она, знаешь, до чего додумалась? Приделала к пружинам матраца таксометр. Представляешь?

Т: Ты, значит, все о бабах...

П: Да нет, одного легионера вспомнил: не хватило у него. Больно здоровый был. Так у него рожа была, как у тебя сейчас. Точь-в-точь.

Т: На себя посмотри, грызло. (Берет с полки книжку и заваливается на постель.)

П: (рассуждает вслух). Плюс десять. Высота — полкилометра над уровнем моря. Это если Капитолийского холма не считать, с ним, думаю, все семьсот получаются. Итак, семьсот равняется плюс десять. В Риме, стало быть, градусов на пять теплее. Ведь если там, значит, что — теплый. Вода в Тибре — мутная-мутная. Как сказано у поэта. Люди бегут. Кошки в окнах мяукают. Башню не видно. Во время дождя никто не думает о Башне... Что значит — архитектура... Я бы в Сенат вошел. Чудное это дело — во время дождя в Сенате сидеть, слушать, как законы обсуждаются. Голосовать... Я бы, конечно, был "за". Неважно даже, за что. А кто-нибудь был бы "против". Какая разница? На то и демократия. Я по натуре — позитивист. И когда руки поднимаются, по всему залу — запах такой волной идет. Подмышками... Даже еще и приятней, когда с меньшинством голосуешь... Э-ах, только подумать: сидишь себе в Сенате — на улице дождь — тут тепло — поднимаешь руку... (Пауза. Поднимает руку, принимает.) ... демократия... Туллий!

Т: Отстань.

П: Все читаешь... Прошлым интересуешься. Конечно, при таком количестве истории, какое уж тут настоящее. Тем более, будущее. Даже географии ни хрена не осталось. Просто — колонии, части Империи. Куда ни плюнь. Даже если и независимыми ставшие... Топография только и осталась. Вниз-вверх... Читай, читай... Когда все прочтешь... Книги-то на полке останутся, а тебя в мусоро-

провод опустят. Как сказано у поэта: Дульце эт декорум эст про патрия мори. Сладостно и почетно умереть за отчизну. Н-да... дульце.

Т: В самом деле, что у нас нынче на сладкое?

П: Хорошо бы опять пирожное.

Т: Опять, говорят тебе, не бывает.

П: Н-да, все повторяется, кроме меню.

Т: Ты бы, конечно, предпочел наоборот.

П: А то нет!

Т: Я и говорю; варвар. (Захлопывает книгу и встает.)

П: Да причем тут варвар?! Чего ты лаешься все время. Варвар! Варвар. Как собака гавкает...

Т: А притом, что истинный римлянин не ищет разнообразия. Истинному римлянину — все равно. Истинный римлянин единства жаждет. Так что меню разное — это даже лажа. Меню должно быть одинаковое. Как и дни. Как и само время. Послабление это: со жратвой у нас. Нет еще полного единства. Но, видать, грядет.

П: Как же так — все равно? Пирожное равно отсутствию пирожного, что ли?

Т: Ага. Потому что *sub specie aeternitatis* отсутствие равняется присутствию вообще. То есть, истинный римлянин разницу за подлянку считает. Так что меню лучше если одинаковое.

П: Пирожных не напасешься. Или — их отсутствия... Н-да... Дульце эт декорум...

Т: Сладостно и почетно... Грядет все-таки единство. Стиля, то есть. Ничего лишнего. С нас, можно сказать, и начинается...

П: Да? А сам канарейку пожалел.

Т: Не пожалел, а оставил.

П: Ну, это одно и то же...

Т: Отнюдь. (Задумчиво.) И вообще жалко, что это — канарейка, а не, скажем, оса.

П: Оса? Какая оса?

Т: Потому что — миниатюризация. Сведение к формуле. Иероглиф. Знак. Компьютерные эти... как их. Ну, когда все — мозг. Чем меньше, тем больше мозг. Из силикона.

П: Туллий!

Т: Как у древних... То есть, я хочу сказать, что например, оса, если поймать ее в стакан и блюдцем накрыть...

П: Ну?

Т: ... то она там, как гладиатор в цирке. То есть, без кислорода.

И стакан — он вроде Колизея, в этой, как ее, миниатюре. Особенно если не граненый.

П: Ну и что?

Т: А то, что канарейка слишком большая. Почти животное. Не годится по стилю. В смысле — эпохи. Много места занимает. А оса — маленькая, но вся — мозг.

П: Да какое там место! Клетка же.

Т: Тавтология, Публий. Тавтология. И тебе бы больше осталось.

П: Ну, осы ты тут не дождешься. И вообще — жалятся.

Т: Это все же честней, чем чирикать; в данных обстоятельствах. И вообще — летать перестала. Зажралась.

П: (ощупывая свой живот). Да, птичке сто грамм прибавить это не то, что нашему брату... Я, может, и пирожное из этих соображений...

Т: И то сказать — отлетался.

П: Одно утешение: в мусоропровод не пролезу.хлопот со мной, Туллий, (ощупывает свою талию) не оберешься. Еще пожалеешь, когда скончаюсь.

Т: У них там сечка, Публий. Сечка-дробилка. Принцип мясорубки с мотивом Тарпейской скалы: в указе так и сказано. Я, помню, указ этот читал — еще мальчиком. А то бы народ бегал. И после сечки этой — крокодилы...

П: Я тоже, помню, читал, что раньше, когда еще свидания давали, многие шары себе под кожу в член вшивали, чтоб диаметр увеличился. У члена же главное не длина, а диаметр! Потому что ведь баба, пока сидишь, с другими путается. Ну и отсюда идея, чтоб во время свидания доставить ей такое... переживание, чтоб она про другого и думать не хотела. Только про тебя. И поэтому — шары. Из перламутра, говорят, лучше всего. Хотя, подумать если, откуда в зонах этих ихних перламутру взяться было? Или из эбонита, из которого стило делали. Выточить себе шарик напильничком, миллиметра два-три в диаметре — и к херургу. И херург это их тебе под кожу загоняет. Крайняя плоть которая... Подорожник пару дней поприкладывать и — на свидание.

Т: То-то Тиберий свидания и отменил.

П: (кричит). А чего ему жалко?! Если человек раз в год!.. Тем более, если — пожизненно?! Жалко ему стало, да? (Успокаиваясь.) Это же придумать надо: раз в год человеку палку кинуть пожалеть. Это же надо придумать!

Т: Да уж всякое лучше, чем сирот плодить.

П: Тогда нечего легионы в Ливию посылать. И в Сирию. И в Персию.

Т: Это разные вещи. Дульце эт декорум эст... Сладостно и почетно...

П: Палку кинуть тоже сладостно.

Т: Вот и отменили, чтоб ты не смешивал.

П: Сладостное с почетным?

Т: Приятное с полезным, Публий... Свидания всей этой идее правосудия противоречат, всему принципу Башни. А палка тем более. Палка есть как бы побег из Башни.

П: Какой же побег? Мы же тут пожизненно.

Т: Да не о тебе речь, Публий. Неужто ты не понимаешь. Не о тебе: о сперме твоей. Это и есть побег. Верней, утечка. Научись мыслить абстрактно, Публий. Дело всегда в принципе. В идее, которая заложена в вещи, а не в вещи как таковой. Раз пожизненно — то пожизненно. Жизнь есть идея. Сперма — Вещь.

П: (кричит). Но я же все равно спускаю! (Успокаиваясь). Вот вся тумбочка желтая.

Т: Потому и отменили, чтобы не смешивал.

П: Чего не смешивал?

Т: Идею с вещью. А тумбочку мы другую выпишем. Если, конечно, ты к этой не привязался.

П: (смерив тумбочку взглядом). Нет, не думаю.

Т: (снимая трубку). Алло, г-н Претор. Это Туллий Варрон из 1750-го. Ага, опять. Не могли бы вы прислать нам новую тумбочку? Да, лучше хромированного железа. Да, старая — как бы получше выразиться — проржавела... Да, только одна... Премного благодарен, г-н Претор. Пардон? Лебединая песня? Что? Какой еще бес в ребро? Это я для г-на Публия Марцелла заказываю. Что? Да, он смущается. Премного благодарен. (Вешает трубку.) Будет тебе новая тумбочка.

П: Спасибо.

*(Пауза. Туллий возобновляет прерванное чтение. Публий некоторое время смотрит в окно. Потом возвращается к своей постели. Садится, открывает тумбочку и долго смотрит внутрь. Шарит внутри рукой. Ничего — пыль. Встает, крикнув. Идет к умывальнику и споласкивает руки. Долго их вытирает. Подходит к клетке с канарейкой. Открывает дверцу. Канарейка не вылетает. Захлопывает дверцу, потом открывает снова. Поворачивается и отходит к весам. Встает на весы и взвешивается. Весьма тщательно. Скиды-*

*вает тогу и взвешивается опять. Надевает тогу, сходит с весов. Садится и записывает результаты взвешивания.)*

Тога-то, Туллий, знаешь, все пол-кило потянет...

Т: М-м-м-м. (Продолжает читать).

П: ... четыреста сорок грамм, если быть точным. Байка потому что. Хотя — если вдуматься — к чему здесь тога? Температура постоянная. Компьютеры все-таки. Что называется, нормальная: на десять градусов ниже тела. О гостях тут и речи нет. Даже о надзирателях... Сами в гости тоже не ходим... Излишество. Только вес замерять точно мешает. Туллий!

Т: Ну чего?

П: На кой нам тоги? Проку же от них никакого. Только между ног путается.

Т: Так ты на статую больше похож. В Риме все тогу носят. Смотри инструкцию. Буква О: Одежда. Тога и сандалии.

П: Так то в Риме. Там погода меняется. Посторонние все время, прохожие. Бабы. А тут все свои. Ты да я, то есть.

Т: Так ты на статую больше похож, говорю. Особенно, если голову отрубить. Или руки. Чтоб тумбочку не портил.

П: Я и без тоги похож. (Распахивает тогу.) А?

Т: Перестань, ты не в лупанарии... В тоге что главное? Складки. Так сказать, мир в себе. Живет своей жизнью. Никакого отношения к реальности. Включая тогоносителя. Не тога для человека, а человек для тоги.

П: Ничего не понимаю. Идеализм какой-то.

Т: Не идеализм, а абсолютизм. Абсолютизм мысли, поняа? В этом — суть Рима. Все доводить до логического конца — и дальше. Иначе — варварство.

П: (кричит). Да как ее доводить?! Чем?! Куда?! И причем тут тога? Складки! Их разнообразие! Мир в себе! Это же просто одежда. На букву "О". Не тога, говоришь, для человека, а человек для тоги, да? А вот сниму я ее (срывает с себя тогу) — и что теперь? Тряпка — тряпкой.

Т: (задумчиво). Похоже на остановившееся море.

П: (опешив). Ну, даешь... Зачитался.

*Над мусоропроводом зажигается лампочка. Туллий поднимается с лжанки и направляется к мусоропроводу. На ходу, через плечо, Публию:*

Т: Оденься, не пугай телекамеру. (Открывает дверцу мусоро-

провода, оттуда выплывает бюст.) Гораций! Квинт Гораций Флакк собственной персоной. (Пытается поднять.) Не оригинал, но тяжелый. Килограмм полста в нем будет. Публий! Ну-ка помоги.

*Публий надевает тогу и нехотя помогает Туллию водрузить бюст на полку, где уже красуется дюжина других бюстов.*

П: Ни хрена себе поэт — надорваться можно.

Т: Классики — они все тяжелые. (Кряхтит.) Ээээх... Из мрамора потому что.

П: Из мрамора, потому что классики? — уф — или классики, потому что из мрамора?

Т: Чего это ты имеешь в виду? Что это значит? Классики, потому что из мрамора? Ты на что намекаешь?

П: Да что мрамор такой прочный. И не всякому из него морду вырубят. Неподатливый он очень, я слыхал. Хоть жги, хоть коли. Максимум, что нос отвалится. Со временем. Но это и при жизни случается. А так — очень устойчивый материал. То-то из него статуи делают: ничто не берет.

Т: (внезапно заинтересованный) . Ну-ка, ну-ка повтори.

П: Ага, статуи. Или, скажем, баню себе, как Каракалла. Хотя он, конечно, император, может себе позволить. Тем более, что они всегда на потомство работают — императоры то есть. Позерство, конечно, но уж они-то в курсе, какой камень устойчивый будет. Это только потом из железа все мастрачить стали. Эгоизм потому что. Про потомков уже никто не думает. Взять ту же Башню. Если на то пошло, из мрамора и надо было варганить. А то сталь эта хромированная — на сколько ее хватит? Ну, еще сто лет, ну, двести. Что там Тиберий думал?.. Да чего там! Вам Гораций вон про это самое и пишет, что он, дескать,

“воздвиг себе монумент.  
превосходящий медь...”

В школе учили, как сейчас помню. Вот ведь темный был, а знал, что с железяками лучше не связываться.

Т: Ну и?

П: И правильно вообще, что ему из мрамора бюст заделали. Хотя и копия. С другой стороны, копию не так жалко, если нос отвалится.

Т: (задумчиво, с отсутствующим выражением на лице). Да, копию, конечно, не так жалко.

П: (ложится). Уф... ну и классик. Хорошо хоть — только бюст, а не целая статуя. Одна тога бы сколько пудов потянула. Складки эти.

Т: (задумчиво). Статуй они не держат. Только бюсты.

П: Жалко. Хотя, с другой стороны, какие среди баб классики? Одна Сафо, да и та двунастная. Да еще тога.

Т: Туника.

П: Это что такое?

Т: Как тога, только короче. У женщин, например, выше колена. Еле-еле причинное место прикрывает.

П: Елки-палки. Елки-палки. Елки-палки. Фасон, что ли, такой?

Т: Да нет, просто в Греции вообще теплее.

П: Елки-палки. Выше колена.

Т: Уймись, Публий.

П: Н-да. Греция, тепло. Кипарисы в небо торчат. Магнолия пахнет. Лавр шелестит. Сафо эта; туника выше колена. "Взошли мои любимые Пленды, а я одна в постели, я одна..." Конец света.

Т: Да, хорошая поэтесса. Но не классик. Одни фрагменты. К тому же — гречанка.

П: Да хоть бы бюст...

Т: Вряд ли... еще заподозрят в республиканских чувствах. Ты еще Перикла себе закажи, Демосфена...

П: А что они нам могут сделать-то?... Куда дальше... Ну, наблюдение усилят. Так мы же и не почувствуем. Телекамеры-то, поди, везде. Башня-то, она же еще телевизионная... Плюс еще ресторан... Только заметить их трудно.

Т: (задумчиво, глядя в окно). Мне иногда приходило в голову, что окно и есть камера. Даже когда открыто.

П: Ну да, а облачность там всякая — это как помехи. Или дождь... Солнце тоже.

Т: Да. А вид Рима — как заставка. Для отвода глаз.

П: То-то канарейка и не вылетает.

Т: Не дура... С другой стороны, надзор вещь естественная. Даже логическая.

П: Какая ж тут логика? Что мы можем? Какое преступление? Ни политического, ни даже уголовного. Разве что мне тебя зарезать. Или наоборот. Но с кем тогда разговаривать? Замену, конечно, пришлют. Но замена и есть замена. То есть, то же самое... Смысл преступления — он в чем? В последствиях? В выгоде, в огласке, в том, что ловят. Что, поймав, судят и, осудив, сажают.

А мы — мы же уже сидим. Обратный процесс — он же невозможен. От следствия к причине. Так не бывает. Какой же прок в телекамерах? А?

Т: Чушь, Публий, преступление интересно именно когда вне контекста. Когда нет ни мотива, ни наказания. Половина художественной литературы об этом.

П: Но преступление вне контекста — не преступление. Потому что только мотив — или наказание — и делают его преступлением.

Т: Его — кого?

П: Ну, это... поступок. Действие. Потому что все на свете определяется тем, что до, и тем, что после. Без до и после событие не событие.

Т: А что?

П: Да почему я знаю! Ожидание. Состояние "до". Или затянувшееся "после".

Т: Варвар! Безнадежный, невыносимый варвар. Еще Горация себе заказывает!

П: Да кончай ты лаяться!

Т: Я лаюсь? Варвар; тупой бессмысленный варвар. Потому что событие без до и после есть Время. В чистом виде. Отрезок Времени. Часть — но Времени. То, что лишено причины и следствия. Отсюда — Башня. И отсюда — мы в Башне. Отсюда же и телекамеры: происходящее в Башне происходит в чистом Времени. В его, так сказать, беспримесном варианте. Как в вакууме. Тем и интересно. Особенно, если зарежешь. Или, если не зарежешь. Еще и интереснее... Пускай смотрят! Может, чего-нибудь поймут. Жаль, Тиберий не дожил, он бы понял. А эти — Калигула, Сенат и т. д. — где им! Но ими Рим не кончается. Потому и на пленку записывают... И все равно (свистящим шепотом, как бы в трансе), все равно... даже потомки... вряд ли. Ибо то, что происходит с нами, может быть понято только нами. И никем иным. Ибо мы — мы обладаем Временем. Или — оно нами. Все равно. Важно, что -- без посредников. Что между ним и нами — никого. Как вечером в поле, когда лежишь на спине и на звезду смотришь. Никого между. Не помню, когда это в последний раз было. Мальчиком. Но ощущение — как сейчас. "Взошли мои любимые Плеяды, а я одна в постели..." — что Сафо эта твоя вообще понимала?! Одно слово — Греция. Эгоистка. Бесконечность восприняла как одиночество. Эгоистка и самка. Римлянин бесконечность воспринимает как бесконечность. От этого бабой не прикроешься. Ничем не при-

кроешься и чем бесконечней, тем ты больше римлянин. Того ради Тиберий Башню и строил... А ты, варвар тупоголовый, такой шанс упускаешь. Но так или иначе и до тебя дойдет. Куда ты денешься. И до остальных тоже. Потому что судьба Рима править миром. Как сказано у поэта.

П: У какого?

Т: У Вергилия. И у Овидия тоже.

П: (обводя взглядом полку и ниши). Эти у нас уже, по-моему, есть...

*Занавес. Конец первого акта.*

## Акт II

*Та же камера после обеда. За окном темнеет. Публий ковыряет во рту зубочисткой. На голове наушники – видимо, слушает музыку. Туллий, в кресле, шелестит газетой. Картина мира и благополучия.*

П: (вздрагнув, настораживается; стаскивает наушники). По-моему, канарейка запела. Или мне показалось?

Т: Послышалось.

П: Я уверен, что слышал канарейкино пение. Странно... А ты не врешь?

Т: Да пошел ты...

П: Может, они опять "Лесной Аромат" в камеру пустили? (Тянет носом.) Хотя это только по пятницам... Туллий?

Т: Ну чего?

П: Какой сегодня день недели?

Т: Понятия не имею. Вроде эта, как ее? среда.

П: С тех пор как при Траяне летоисчисление отменили, дни недели тоже стали какими-то... как пальцы рук... безымянными, правда? То есть, оно, конечно, лучше, что мы на порядковые номера перешли. Потому что после двухтысячного года как-то смысла нет года считать. Даже после тысячного уже ничего непонятно. До тысячи еще можно досчитать, а потом засыпаешь... Да и для кого считать-то вообще? Это же не деньги. Ничего же не остается. Не потрогаешь... И начали-то, наверно, считать от нечего делать... Хотя вот мы, например – не считаем же. Хотя делать, вроде, и нечего. ... Пространство, наверно, мерили. То есть, расстояние. Столько-то дней пути. И так и пошло, по инерции... Остановиться

не могли. Тысяча. Две тысячи. И т. д. Даже когда километры появились... Спасибо Траяну, одумался, Теперь пускай компьютеры этим занимаются. А то — тысяча лет, тысяча километров... Бред какой-то... Названий, конечно, жалко. Среда, пятница... Этот, как его? четверг... Туллий! "Морской воздух" нам по четвергам пускают?

Т: По вторникам.

П: Красивое имя — вторник... Как же это мне все-таки канарейка послышалась? (Направляется к клетке, открывает дверцу, заговаривает с канарейкой.) Ну, ты пела или не пела? А? Хули молчишь? Языка человеческого не понимаешь, что ли? Все понимаешь, не ври. Если я тебя слышу, то и ты меня тоже. Просто наплевать, да? Гора мяса трепыхается и все, правильно? Ох, эти мне пернатые-пархатые. Или не кормят тебя? Вон Туллий тебе целых пол-трюфеля оставил шоколадного. Из Галлии. А ты, сучка, брезгуешь. Голодовку объявила. Ну, Рим от этого не рухнет. Даже если мы с Туллием объявим, не рухнет. Да и как ее объявишь, когда то петушинные гребешки с хреном, то фламинговы яйца, икрой начиненные? Задумаешься. Ули-тити-тюю. Ничего, еще запоешь. Куда ты денешься? Бери пример с нас с Туллием... Туллий?

Т: Ну, чего тебе?

П: Может она петь завязала, потому что высоко — все-таки километр почти над уровнем моря? Они тут не летают!

Т: А ты ее спроси. Ты же с ней разговариваешь. Прямо святой Франциск.

П: Не отвечает. Заперлась и не колется. Как блатная или политическая. (К канарейке.) Ули-тити-тюю. Ты блатная или политическая? Впрочем, блатных и политических в Башне не держат... Блатные и политические теперь по улицам гуляют, на Капитолии сидят. Потому что все отчасти блатные и отчасти политические. Кто больше, кто меньше. Дело не в сущности: только в степени. А за степень в Башню сажать — башен не напасешься, правильно? Так что и тут не по делу, а просто так. Из-за реформы Тибериевой. Вот и бери с нас пример. Мы же трекаем. Даже если тебе и непонятно. Тем более пример брать должна. Это не фокус брать пример, когда все понятно. Ули-тити-тюю.

Т: Да оставь ты птичку в покое. Далась она тебе!

П: А того и далась, что почему нам не подражает! Коли здесь находится. А то можно подумать — природа против нас. Она же

природу представляет. Ведь это же все искусственно!!! Включая нас!!! Она одна — естественна...

Т: Ну, не горячись. Представляет и представляет. Даже если представляет, то — низшую степень развития.

П: Да я к тому и клоню. Попугай и тот лучше будет... Я, когда мы в Ливии когортой стояли, в Лептис Магне гетеру одну знал. Так она что, змея, придумала. Рядом с постелью аквариум держала. Чтоб рыба, говорит, делу училась. Эволюцию чтоб ускорить, то есть. А то они больно икрой разбрасываются. Вот я и думаю: чего ж канарейке с нас пример не взять. А то молчит, артачится.

Т: Может, ей пару заказать. Позвони претору.

П: Ну, этому она у нас не научится. Разве что мы у нее.

Т: Опять, значит, свербит... Ну, ничего, через пять минут прогулка. (Потягивается.) Малафью тебе растрясти. Чтоб, значит, в сыр не сбилась.

П: Груб ты, Туллий. Груб, но наблюдателен (Кивая на газету.) Чего пишут-то?

Т: А-а-а, жвачка. Бои в Персии. Ураган в Океании. Еще про высадку на Сириусе и Канопусе.

П: Ну и?

Т: Никаких признаков жизни.

П: Это я мог бы и без них сказать. Невооруженным глазом видно.

Т: То есть?

П: Была б там жизнь, хрен бы мы их вообще увидели. Ночью особенно. Ночью спать ложатся и свет выключают... Жизнь... Что они про это понимают... Исследователи...

Т: А ты, Публий? Что ты понимаешь? По-твоему, жизнь — это что такое?

П: Это когда свет рубишь — и на бабу. Вот это жизнь... Скорей бы прогулка, что ли...

Т: Как это ни дико, но в том, что ты несешь, есть доля истины... Как сказано у поэта, вокс попули, вокс Деи. Глас народа — глас божий... Или что у трезвого на уме, у пьяного на языке... Темнота-таки действительно форма жизни. Так сказать, состояние света, но — пассивное. Днем — активное, а ночью — пассивное. Но — света. А свет у нас что? — форма энергии. Источник жизни. Для помидоров, по крайней мере, или лука зеленого. И темнота тоже источник. Того же самого. Форма жизни. Материи, как они

говорят... И это бы еще ладно, что материи... Но им подай пуговицы. То есть, чтоб блестели. Ибо жизнь, по-ихнему, есть что-то плотное, осязаемое. Из мяса сделанное. Волокна из ткани. Клетки с молекулами. Берешь в руки — маешь вещь. Осязаемое и описанию поддающееся. Или сфотографировать. Всегда во вне. А жизнь это то, в чем вещи существуют... Не сами они, а эта, как ее? среда. И четверг, и вторник, и пятница. И когда светло, и когда темно. Особенно, когда темно. Это не звезды ихние, а то, что между.

П: Да не расстраивайся ты. Подумаешь, газета. И вообще: только жлобы обращают на звезды внимание...

Т: (продолжая свое). Не жизнь для вещи, а вещь для жизни... (Успокаиваясь.) Интересно, как они там определяют ее отсутствие? Чем? Миноискателем, что ли? Дозиметрами? Гейгером-Мюллером?

П: Может, они в миноискатель идею христианства вмонтировали. И язычества. И буддизм с мусульманством... Мало ли что... За ними не уследишь... Тумбочку новую до сих пор не прислали. Позвонить, что ли, претору?

Т: После отбоя, наверно, пришлют. Тебе ж еще и лучше. На ночь-то глядя...

П: Груб ты, Туллий...

*(Первые такты "Сказок Венского Леса", свет в плафонах убывает, и пол приходит в движение: на трех стенах камеры появляется (спроецированное либо сзади, из-за кулис, либо — через окно) изображение парка с аллеями, прудом и статуями. Изображение это может быть статичным, но лучше, если это фильм, и лучше, если смена кадров скоординирована с движением фигур Публия и Туллия.)*

‘Ну, наконец-то... Что это у нас сегодня — вилла Д’Эсте или вилла Боргезе?

Т: Не-е. Это вроде где-то в Галлии. Тюильри, что ли. Или нет, это в Скифии Северной... ну, в этой, в Европе Восточной. То-есть, в Западной Азии. Город-то как этот ихний называется?

П: Да пес его знает. Хороший сад все-таки... Вон, видишь, Вертунм и Помона.

Т: Ага, а это “Похищение Сабинянки”.

П: Точно. А вон “Сатурн пожирающий своего младенца”. Н-да, сюжетик... И ограда ничего. И даже, вон, лебеди... Интересно, откуда у них лебеди...

Т: Один лебедь.

П: А это что? (Подходит к стене и тычет пальцем.)

Т: Отражение. Нет лебедя без отражения. Или человека без биографии. Как сказано у поэта,  
И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,  
любясь красой своего двойника.

П: Это кто сказал?

Т: Не помню. Скиф какой-то. Наблюдательный они народ. Особенно по части животных.

*(Пауза. Прогуливаются.)*

П: Что с поэтами интересно — после них разговаривать не хочется. То есть невозможно.

Т: То есть, херню пороть невозможно?

П: Да нет. Вообще разговаривать.

Т: Самого себя стыдно становится. Ты это имеешь в виду?

П: Примерно. Голоса, тела и т. д. Как после этих строчек про двойника... Ну-ка, повтори.

Т: И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,  
любясь красой своего двойника.

П: Дальше ехать некуда...

*(Пауза. Прогуливаются.)*

Жить незачем. Жить, возможно, и не надо было. Детей делают по неведению. Не зная, что э т о — уже есть. Или по недоразумению...

Т: Или надеясь, что они тоже стихи писать станут. И многие пробуют. Но вскоре на прозу переходят. Речь в Сенате толкают и т. д.

П: Я тоже баловался. Когда мы когортой в Ливии стояли...

Т: Опять похабель какая-нибудь...

П: Да нет, молодой еще был... и тоже одно написал. Ничего не помню: только две строчки, тоже про птицу:

Но порой меня от сплина  
не спасал и хвост павлина.

Т: Недурно, совсем недурно. Публий. Не лишено изящества... Больше не пробовал?

П: Не, завязал.

Т: Жалко... И не потому, что сидел бы ты сейчас не тут, а скажем, на своей вилле на Яникулуме. Тут бы, положим, был твой

бюст. Жалко потому, что сказанное поэтом неповторимо, а тобой — повторимо. То есть, если ты не поэт, то твоя жизнь — клише. Ибо все — клише: рождение, любовь, старость, смерть, Сенат, война в Персии, Сириус и Канопус, даже Цезарь. А про лебедя и двойника — нет. Чем Рим хорош, так это тем, что в нем столько поэтов было. Цезарей, конечно, тоже. Но история — не они, а то, что поэтами сказано.

П: Да? А Тиберий с Траяном, а Андриан? А новые территории в Африке?

Т: Зарезать, Публий, и легионер сумеет. И умереть за отечество тоже. И территорию расширить, и пострадать... Но все это клише. Это, Публий, уже было. Хуже того, это будет. По новой, то есть. В этом смысле у истории вариантов мало. Потому что человек — ограничен. Из него, как молока из коровы, много не выжмешь. Крови, например, только пять литров. Он, Публий, предсказуем. Как сказка про белого бычка. Как у попа была собака. Да капо аль финим. А поэт там начинает, где предшественник кончил. Это как лестница: только начинаешь не с первой ступеньки, а с последней. И следующую сам себе сколачиваешь... Например, в Скифии этой ихней, кто бы теперь за перо ни взялся, с лебедя этого начинать должен. Из этого лебедя, так сказать, перо себе выдернуть...

П: (приглядываясь к пейзажам). Интересно, фильм или прямая трансляция?

Т: (взрываясь). Да какая разница! Природа и есть природа. Деревья эти зеленые. Вот уж, говоря о клише... Ствол от ствола еще отличить можно, но лист от листа! Отсюда, я думаю, идея большинства и пошла... Природа сама и есть трансляция... Из зала Сената... Сплошная орация...

П: Да успокойся ты, Туллий. Разнервничался. Вообще ты последнее время... С пол-оборота заводишься. Ну, хочешь, выключим. В нашей же власти.

Т: Выключи, действительно... ужасная все-таки гадость... Тавтология. Хуже всего, что — естественная. Мать, так сказать, природа...

П: Выключаааауюю... (Нажимает кнопку: пол останавливается, аллеи исчезают, зажигается свет.) В следующий раз лучше заранее откажемся. (Миролюбиво.) В следующий раз...

Т: Варвар! В следующий раз!.. Откуда ты знаешь, каким он будет, раз этот следующий! Привык к тому, что завтра наступает. Развратился.

П: Ты на что намекаешь? Хочешь сказать, что зарезать меня собираешься? На, режь! Тем более, что на пленку записывают. Или прямо транслируют. Режь! Все лучше, чем в цилиндре этом вонючем...

Т: Никто тебя резать не собирается... Пол потом мыть... Как, между прочим, и наоборот... просто распахивался я что-то. Ты тоже. Может, они какой дури в паштет намешали.

П: Юлишь... хотя паштет и впрямь был не очень.

Т: С другой стороны, мы такого еще не пробовали. Из страусовой печенки с изюмом.

П: Вообще рыбу последнее время мало давать стали.

Т: Может, она вся в Лептис Магну ушла, у бандерши твоей эволюции учиться.

П: Или — блокада морская. Сам говоришь, стычки в Персии.

Т: Лето к тому же: портится быстро.

П: Н-да. Рыбки бы сейчас. Свеженькой... (Глядя в окно.) Глаза бы мои этих звезд не видели. Уж лучше бы в шахтах сидеть, как при республике. Уголь и уголь. По крайней мере, рубая его, хоть иллюзия была, что к свету пробиваешься... Это, конечно, шикарная идея — энергию из воздуха добывать. Легкие эти механические, что Тиберий ввел, и печень. И даже приятно, что кровь ихняя, так называемая — коричневого цвета. Не только экономическая, но и эстетическая независимость от чучмеков этих с нефтью ихней. И вообще в пандан Риму с его терракотой... А только в шахте, думаю, было все-таки лучше. В смысле, — не было надежд этих, бессознательно с прозрачностью связанных. Синь эта, даль... холмы. Умбрия, Альпы. Особенно в хорошую погоду. Тем более, весной. Ультрамарин и прочее. На кареглазых такие вещи особенно сильно действуют... когда взгляд канает и канает, без остановки... Мечтательность развивается. Не то, что в шахте. На это, видать, Тиберий и рассчитывал. Вместо того, чтоб на стенку лезть, воображение разыгрывается. За счет, ясное дело, ярости... Звезды эти, к тому же. Вега и Кассиопея. Орион и Медведицы. Сконцентрироваться невозможно. Тот же Сириус... Того гляди, про лебедя и двойника сочинять примешься... Удивительно, Туллий, что ты не пробовал. При таком-то виде.

Т: Я пробовал. Не далее, как вчера.

П: Ну?

Т: Вид, открывающийся из окна,

Девять восемьдесят одна?

П: Девять восемьдесят одна? Это чего такое?

Т: Ускорение свободного падения.

П: Макабр. Помноженное на 500 метров, если не больше. Макабр... Значит, ты тоже об этом думаешь?

Т: О чем?

П: Ну... об этом (указывает глазами на потолок...) ... сам понимаешь.

Т: (смотрит на потолок). Над нами только этот... как его?.. ресторан. И телевизионная антенна.

П: Да я не про то. (Обрывает себя на полуслове. Следует отчаянная пантомима. Возводя глаза горе, Публий одновременно тычет пальцем вниз. Затем, убедившись, что смысл его жестикологии не доходит до Туллия, меняет тактику и, тыча пальцем в потолок, косит глазами в пол. После чего следует комбинация того и другого, в итоге которой он окончательно запутывается и, поняв это, кричит — смесь шопота и крика.) О побеге! Или... или о (с расширенными глазами) о самоубийстве!

Т: Очень благородная римская традиция. Сенека и Лукреция. Марк Антоний... Это с какой же стати я о самоубийстве думать должен?

П: Ну как же! Это ж — это же — выход!

Т: Самоубийство, Публий, не выход, а слово "выход", на стенке написанное. Как сказано у поэта. Только и всего.

П: У какого?

Т: Не помню. У восточного.

П: Это где?

Т: Тоже в Западной Азии. Наблюдательный они народ...

П: Тогда — о... о (Подбегает к умывальнику, отворачивает кран и свистящим шепотом.) О побеге?

Т: Совершенный ты дикарь, душка Публий. Самоубийство, побег. Детский сад какой-то. Куда бежать? В Рим — из Башни? Да это все равно, что из Истории — в Антропологию. Или лучше: из Времени — в Историю. Мягко говоря, деградация. Со скуки окачуриться можно.

П: А здесь чем лучше? Там хоть что-то происходит. Петушинные бои. Гетеры. Гладиаторы. Сенат, в конце концов. Законодательство. Да я бы снова в легион записался. Ко всем чертям. В Ливию, в Персию! Если не поэт, то хотя бы в истории участвовать: В географии, по крайней мере. Особенно когда морем путешествуешь.

Т: Его откуда тоже видеть. В хорошую погоду особенно.

П: Как и бои петушинные. Записанные на пленку. Для потомства.  
Т: Или в трансляции. Хочешь, выключим?  
П: Ладно, чего там...

*(Над мусоропроводом загорается лампочка.)*

Т: Публий!

П: Чего?

Т: Жену тебе привезли.

П: А?

Т: Тумбочка твоя новая. По-моему, доставили.

П: (замечая лампочку и поднимаясь с лежанки). Груб ты, вот что...

Т: Помочь?

П: Да ладно, я сам.

*Открывает дверцу: оттуда выплывает новая, из хромированной стали, тумбочка.*

Т: Красавица, а ?

П: Ничего, действительно.

Т: Из того же материала, что и сама Башня. Не какнибудь.

П: Н-да, ничего... Только в ней все отражается. (Устанавливает тумбочку около кровати, отходит на два шага.) Как в кривом зеркале. Но — зеркале.

Т: Нет лебедя без отражения... Может, это тебя охладит малость. Южный темперамент. Либо наоборот распалит.

П: Да оставь ты... Завидуешь, небось. Конечно, в твоём возрасте... Да и в моём тоже... Раньше, бывало, сунешь пенис в ведро — вода кипит. А теперь (машет рукой.) ...

Т: Я это ведро тебе на своём с первого этажа на пятый поднесу. С петухами особенно.

П: Кончай хлестаться.

Т: Пари?

П: На что?

Т: На твоё снотворное. На неделю вперед.

П: Ты сначала ведро найди. Не выпускают их больше...

Т: Ну, это претору позвонить можно; он разыщет.

П: И ступеньки...

*Пауза; Публий исследует внутренности тумбочки.*

Т: Странно, как вещи из моды выходят. То же ведро, например.

П: Ну, в сельской-то местности им еще, поди, пользуются. В Ливии, например, я помню...

Т: Так то в Ливии... Не ты, так я о Ливии и не вспомнил бы. И о сельской местности. Вообще — о мире... Так, нечто горизонтальное. Зеленовато-коричневое с синим. Грады и веси. Формы эти — кубики, треугольники. Крестики, нолики. Ниточки синенькие. Поля распаханые.

П: Хочешь, претору позвоним — карту Империи закажем?

Т: Или — обои. Что то же самое... Смысл Империи, Публий, в обесмысливании пространства... Когда столько завоевано — все едино. Что Персия, что Сарматия, Ливия, Скифия, Галлия — какая разница? Тиберий-то и был первый, кто это почувствовал... И программы эти космические — то же самое, ибо чем они кончаются? Когортой на Сириусе, колонией на Канопусе. А потом что? Возвращение. Ибо не человек пространство завоевывает, а оно его эксплуатирует. Поскольку оно неизбежно. За угол завернешь, думаешь: другая улица. А она — та же самая: ибо она — в пространстве. То-то они фасады и украшают — лепнина всякая — номера навешивают, названиями балуются. Чтоб о горизонтальной этой тавтологии жуткой не думать. Потому что все — помещение: пол, потолок, четыре стенки. Юг и Север, Восток и Запад. Все — метры квадратные. Или, если хочешь, кубические. А помещение есть тупик, Публий. Большой или малый, петухами и радугой разрисованный, но — тупик. Нужник, Публий, от Персии только размером и отличается. Хуже того, человек сам и есть тупик. Потому что он сам — помещение. Полтора-два метра в высоту на полметра в диаметре. В лучшем случае. Кубических или анатомических, или в чем там объемы меряются...

П: Пространство в пространстве, то есть?

Т: Ага. Вещь в себе. Клетка в камере. Оазис ужаса в пустыне скуки. Как сказано у поэта.

П: Какого?

Т: Галльского... И все одинаковые. Анатомически, то есть. Близнецы или двойники эти самые. Лебеди. Природа в том смысле мать, Публий, что разнообразием не балует. Из дому выйти надумаешь, взглянешь в зеркало — и дело с концом. Или в тумбочку эту... даром, что кривая... То-то они так за тряпки хватаются — тоги эти пестрые разнообразные...

П: Туники...

Т: Хитоны.

П: Живо. Это что такое?

Т: Одежда верхняя легкая. Но — поверх туники. Тоже греческая... Неважно. Только чтоб на самих себя не нарваться... Чтоб помещение не узнать... Весь ужас в том, что у людей больше общего, чем разного. Голова, руки, ноги, причинное место: у баб титьки еще. Но с точки зрения пространства, Публий, с точки зрения пространства, когда ты на бабу забираешься, происходит нечто однополое. Как если и не на бабу. Топографическое извращение какое-то место имеет. Топо-сексуализм, если угодно. Тавтология. Тиберий это потому и понял, что — цезарь. Потому что поданных в массе привык рассматривать. Потому что Цезарь, он что? он общий знаменатель всегда ищет.

П: Первому это, я думаю, богдыхану китайскому в голову пришло. У егонных подданных все же больше общего. И знаменатель и числитель... Потому, видать, у них даже и республики не было. Один всех и представляет.

Т: Да их же там миллиард с лишним, Публий. Даже если б от каждого миллиона по сенатору избиралось, можешь себе Сенат этот представить а? Или результаты голосования. Скажем, 70% за, 30% — против. То есть, триста миллионов в меньшинстве.

П: Да, некоторые цезарями становились и при более скромных исходных.

Т: Не в этом дело! не в этом дело, Публий! Не в цифрах. Конечно, миллиард — это уже пространство. Особенно если их плечом к плечу поставить. Но они еще и друг на друга взбираются. Совокупляются... Это — пространство не только к самовоспроизводству, но еще и к расширению склонное... То-то они там на Востоке и вырезают друг друга с таким безразличием. Потому что — много, а раз много, то взаимозаменяемо. Этот, как его, в Скифии который? Ну, последний век христианства — верней, постхристианства — он же так и утверждал: у нас незаменимых нет... Не в цифрах дело. Дело в пространстве, которое тебя пожирает. В образе версты или в образе тебе подобного... И бежать некуда, от этого спасенья нет, кроме как только во Время. Вот что имел в виду Тиберий. Он один это понял! Ни богдыхан китайский, ни все сатралы восточные не просекли, Публий. А Тиберий — да. И отсюда — Башня. Ибо она ни что иное, как форма борьбы с пространством. Не только с горизонталью, но с самой идеей. Она помещение до минимума сводит. То есть как бы физически тебя во Время вталкивает.

В чистое Время, километрами не засранное; в Хронос... Ибо отсутствие пространства есть присутствие Времени. Для тебя это — камера, темница, узилище: потому что ты — варвар. Варвару всегда Лебенсраум подай... мослами чтоб шевелить... пыль поднимать... А для римлянина это — орудие познания Времени. Проникновения в оное... И орудие, заметь, современное: со всем для жизни необходимым...

П: Да уж это точно. Дальше ехать некуда. В смысле — этой камеры лучше быть не может.

Т: Одиночная наверно лучше. Там пространства еще меньше, особенно анатомического... Дальше, конечно, только гроб, где пространство кончается, а сам Временем становишься. Хотя кремация еще даже и лучше... Но это от претора зависит.

П: А урну с прахом куда? Родственникам?

Т: Лучше в мусоропровод. Так хоть в Тибр попадет. Опять же места занимать не будет. Пространства, то есть. От претора, конечно, зависит.

П: Нет, я лучше родственникам... Октавиан хоть знать будет, где папка валяется. А то — как не было меня. Только пенсия... Не святым, дескать, духом...

Т: Да, не любил Тиберий длиннополых...

*Пауза.*

П: Если бы ты мне дал, мы бы пространство сократили. Спали бы вместе.

Т: Ну да, сократили бы. На десять сантиметров.

П: На пятнадцать! Вынуть?

Т: Да перестань. Я видел. Десять от силы и будет.

П: Пятнадцать! Спорим?

Т: На твое снотворное.

П: (смешавшись). Зато — диаметр! И обрезанный. Десять сантиметров тоже, знаешь, не валяются.

Т: И не сократили бы, а увеличили...

П: Даже если только на десять?

Т: Даже если только на десять.

П: Ну и пошел ты... Не больно-то и хотелось... (Раздражаясь.) На твоём очке свет клином не сошелся. Подумаешь... когда мы в Ливии когортой стояли, я одного араба знал. Так он за пару сестерциев в ноздрю давал. Тоже, видать, привередливый был, пространство экономил. А как клиент кончит, так он сморкался... От катара верхних дыхательных путей и помер.

Т: Лучше домой позвони.

П: Сам звони! Домой!.. Туда хрен вернешься. С таким же успехом в Грецию древнюю звонить можно. Либо — в Иудею библейскую... "Домой". Ты еще "мама" скажи. Я бы им урну эту уже сейчас послал. Они бы и проверять не стали. Для них "пожизненно" куда больший, чем для нас, смысл имеет. Потому что у них там жизнь происходит. А тут... Может, в шахматы сыграем...

Т: Шахматы мы, Публий... на Горация давече обменяли.

П: А-а, совсем из головы вылетело.

Т: Меньше бы ты себя на тумбочку изводил.

П: Может, пофехтуем?

Т: На ночь глядя? Как сказала девушка легионеру.

П: И то сказать... Неужто так всегда будет! Ведь — до конца дней. А он еще когда наступит. При ихней-то диете... А когда наступит, тоже, говорят, не заметишь... Всегда. И через десять лет. И, может, через двадцать. И когда фехтовать уже сил не будет. Не говоря уже про шахматы. И вся камера будет бюстов полна... То есть, "всегда" — это когда забудешь, сколько их сегодня было... с Горацием или без?.. И ведь уже завтра и забуду. Или послезавтра... Завтра-то, может, это и есть, когда "всегда" начинается. И может, оно уже наступило. (Кричит.) Я же не помню, сколько их вчера было! Шестнадцать? Четырнадцать? С или без Горация?.. От этого же можно с ума сойти!

Т: Затем нас вместе и посадили, чтоб этого не случилось.

П: ?

Т: Как в браке. И потом: они же на пленку записывают. Ведь на два разделенная мысль всегда понятней... Не говоря о том, что не так ужасна.

П: Ты хочешь сказать, что мы тут... это... в назидание потомству... Как свинки морские?..

Т: Да нет же... Потом свинки морские — у них дара речи нет. Их уже интерпретировать приходится... Бихевиоризм называется... Да ни у какого потомства и времени не будет нами заниматься. Пожизненно все-таки... Просто некоторые мысли в голове не умещаются. Им, чтобы мыслью стать, больше, чем один мозг требуется... Ум — как это там? — хорошо, а два лучше... Народная мудрость. Чтоб мысль до конца додумать... Теорию вероятности, например. Или это твое "всегда".

П: Но это значит... это значит, что мы как бы одним мозгом

становимся. То есть, с точки зрения мысли. Куда она укладывается, для нее и есть мозг. Правое и левое полушарие.

Т: Я лучше левое буду.

П: Но почему же нам тогда в одну постель не лечь!!! Ведь если один мозг, то и тело одно тоже!

Т: В том-то и дело, что одно тело может с ума сойти, а два нет. Во всяком случае, не от той же мысли.

П: Отказываешься, значит... А сам — "одиночная камера, одиночная камера"... Одна мысль на двоих, да под одним одеялом — вот и была бы одиночная камера...

Т: Ну, твоим-то "всегда" хрен накроешься. Вдвоем тем более.

П: ?

Т: Потому что эгоист ты. Как все варвары. "Всегда" твое это — тебя только и касается. Ты же не про Время, Публий, думаешь: тебе себя жалко. А с жалостью к себе жить можно. Даже приятно. Дать тебе или не дать — тебе все равно себя жалко будет. Даже если бы баба тебе дала, даже, если бы мальчик...

П: Да почему ты знаешь!?

Т: А чего же ты тогда ради в Ливии этой своей по бардакам шастал? Ведь баба же была. И этот, как его, Октавиан твой. Ведь не в Башне же был, а?

П: Хочешь сказать, что меня за аморалку...

Т: (продолжая). Жалко тебе себя было всегда, вот что. И сейчас тебе себя жалко. И "всегда" твое только степень жалости к самому себе и выражает. "Ой, ведь так будет и завтра, и послезавтра. Ой, и вчера уже так было. Ой, я бедный-несчастный".

П: А сам! — а сам! — а ты-то, сам! (Выпаливает.) Ты помнишь, сколько тут вчера бюстов было?

Т: Понятия не имею. Какая разница? Пятнадцать. Шестнадцать. И вообще лучше я буду левое полушарие...

П: А я вспомнил! Вспомнил! Четырнадцать! Четырнадцать их было!

Т: (обводя взглядом полки и ниши). Их и сейчас четырнадцать; с Горацием.

П: (возбужденно). Ага! ага! Потому что мы вчера Сенеку выписали, и он нам не понравился. И мы его назад отправили, из-за бороды. А сегодня Горация выписали — и опять стало четырнадцать. Было четырнадцать, стало тринадцать. Потом опять четырнадцать стало. (Хватается за голову.) Что это я такое несу? Мне показалось — их было ПЯТНАДЦАТЬ?

Т: Успокойся, Публий. Сложение и вычитание. Какая разница. Просто производятся одновременно. А ты привык их совершать последовательно. Делов куча. Сколько было бюстов... Как вода в бассейне. Из двух кранов вливается, из одного выливается.

П: (упавшим голосом). Никогда в толк этого не мог взять.

Т: Я тоже... Говоря о бассейне — скупнуться, что ли. На ночь-то глядя...

П: Но от этого же можно с ума сойти! Ведь их же — бюстов — все больше и больше становится! Их же еще больше будет!..

Т: (загадочным тоном). Может — больше. А может, и совсем не будет.

П: (недоуменно и настороженно). Что это ты имеешь в виду?

Т: (спохватываясь). Классики... э-э-э... их вообще не так уж много. Римских, во всяком случае. Раз-два, и обчелся.

П: (выкрикивая). Пятнадцать!

Т: (продолжая). Главное — с императорами не путать. Энний, Лукреций, Теренций, Катулл, Тибулл, Проперций, Овидий, Вергилий, Гораций, Марциал, Ювенал. Главное — с императорами не путать. Ни с ораторами. Ни с императорами. Ни с драматургами. Только поэты.

П: Потому что мрамора мало.

Т: Ни — с греческими. Ни, тем более, с христианскими. В твоём случае, это особенно важно.

П: Почему?

Т: Потому что варвару всегда проще стать христианином, чем римлянином.

П: ?

Т: Из жалости к себе, Публий, из жалости к себе. Тебе же отсюда сбежать хочется. Или — самоубиться. То есть, тебе вечной жизни хочется. Вечной — но именно жизни. Ни с чем другим это прилагательное связывать не желаешь. Чем более черной, тем более жизни, да?

П: Ну и что? Чего в этом дурного-то?

Т: Да нет, разве ж я... что ты? ничего дурного в этом нет. Ровно наоборот. Более того, все это осуществимо, Публий: и сбежать, и самоубиться, и вечную жизнь обрести тоже. Все это, Публий, как раз возможно. Но стремление-то к возможному как раз для римлянина и есть самый большой моветон. А поэтому, душка Публий...

П: Как?! Как ты сказал? Ты имеешь в виду — сбежать возможно? да? Ты сказал — это осуществимо... Я не ослышался?...

Т: Осуществимо, душка Публий, осуществимо. Все осуществимо. А пока...

П: (вскакивая, орет). Каким образом!?!? Как? Где? (Безумно озирается, как бы в поисках выхода, как бы подозревая, что что-то проглядел; затем кидается к мусоропроводу, к двери лифта, к окну — ощупывает стекло — бросается к клетке с птичкой, осененный как бы догадкой, но тут же разочаровывается, и т. п. Двух — не более — минутная пантомима, на протяжении которой Туллий, заложив руки за спину а ля школьный учитель, разглядывает бюсты). Как? Где? (Возбуждение его гаснет.) Бреешь, падло. Ни хрена это не осуществимо. Не в данной инкарнации. И не будь это пожизненно, начистить бы тебе рыло... Сука ты, Туллий, большая, старая римская сука. Волчица. Ни стыда, ни совести. Над простым человеком дорываться. "Осуществимо, возможно..."

Т: (не меняя позы). На что поспорим?

П: На твоё снотворное.

Т: Лучше на твоё. Мое всё кончилось.

П: Идет... (до него начинает доходить смысл сделки, но ему лень додумывать.) Да ты что... охренел, в самом деле... Да если я проиграю — то есть, если ты выиграешь, то...

Т: А пока, душка Публий, повторяй за мной: Энний, Теренций, Лукреций... Ну, давай!

П: (повторяет, загибая для счёта пальцы). Энний, Теренций, Лукреций...

Т: Катулл, Тибулл, Проперций.

П: Катулл, Тибулл, Проперций.

Т: Вергилий, Овидий, Гораций.

П: Вергилий, Овидий, Гораций.

Т: Лукан, Марциал, Сенека.

П: Лукан, Марциал, Сенека... Пятнадцать!

Т: Ювенал... эх, добавим историков. Плиний, Тацит, Саллюстий...

П: Плиний, Тацит, Саллюстий... спать-хочется-а...

Т: Прими снотворное. У тебя же есть.

*Пауза, во время которой занавес на четверть опускается.*

П: Пожалуй. Пожалуй, ты прав. (Прислоняет ладонь к пульту

в изголовьи; на экране вспыхивает: "Публий Марцелл, № 1750-А"; затем Публий нажимает кнопку, и на экране вспыхивает: "Заказ — Снотворное". Затем из отверстия рядом с Пультом появляется, как пневмопочта, продолговатый цилиндр, в котором, когда Публий берет его в руки, раздается характерное тарыхтение таблеток: Туллий следит за всей этой манипуляцией, как загипнотизированный. Публий произносит с видимым удовлетворением.) Что ни говори, а мои отпечатки Туллий — не твои отпечатки пальцев. (Высыпает несколько таблеток на ладонь, подходит к стоящему на столе графину, бросает таблетки в рот и запивает их прямо из носика.)

Т: (глотаю слюну). Римские компьютеры... славятся своим гостеприимством. (Закуривает.)

П: (уходит в нужник; раздается сильный шум падающей струи, затем — звук спускаемой воды, сменяемой звуком воды из-под крана: Публий чистит зубы, полощет на ночь горло, приготавливая.) Катулл, Тибулл, Проперций, Вергилий, Овидий, Гораций. Катулл, Тибулл (Выходит из нужника, пересекает сцену по направлению к своему ложу.), Проперций, Овидий, Вергилий, Гораций. (Садится в своем алькове, чтобы размотать сандалий, и, внезапно, в этой позе валится на бок и засыпает.)

*Пауза. После которой Туллий встает, направляется к алькову Публия; укладывает Публия в постель. Все время косясь на цилиндр с таблетками. Берет этот флакон в руки, читает надпись на этикетке. Проглатывает слюну. Ставит флакон на место, смотрит в окно, там — Луна и звезды. Пауза. После чего Туллий задергивает альков Публия пологом, направляется к нише; вынимает оттуда бюст, допустим, Вергилия, кряхтя, перетаскивает его к отверстию мусоропровода и ставит его на то, что служит в камере обеденным столом — такая платформа с регулируемой высотой — более или менее, как в больницах. Последующие 5–10 минут Туллий занят переноской бюстов из ниши с полок и установкой их на столе. Он вспотел, запыхался; обнажает себя до пояса и, останавливаясь передохнуть, прислушивается к довольно громкому храпу Публия...*

Т: (выпрямляясь и утирая пот со лба — прислушивается к храпу Публия.) Во человек клопа давит! В объятьях — как его? — Морфея. "Лесбия, где ты была? Лежала в объятьях Морфея..." Катулла, стало быть, первым и пустим. Во-первых — копия, и поэтому не жалко... во-вторых, уж больно популярен... И весу, как в императоре... Потяжелей Горация будет... килограмм за полста потянет... И при ускорении в 9,81... да если 700 метров

лететь... то сечке, конечно, кранты. Как, впрочем, и крокодилы-  
чикам. То есть, в лучшем случае, крокодилчикам мрамор при-  
дется хавать... А это разные вещи... Это тебе не фарш... Так мож-  
но и зубки испортить... И тут мы по ним еще Вергилием врежем.  
Тем более, что портретное сходство посредственное... Да и кто  
его вообще видел... может, даже и не он... Аноним... "Сами овечки  
в лугах поедать колокольчики станут/ чтоб в голубую их шерсть  
красить потом не пришлось..." Экая прелесть... Всей этой "Энеиды"  
бесконечной стоит. (Пододвигает бюст Вергилия к отверстию  
мусоропровода.) ... Тяжелый, однако, поэт... Одно слово — эпи-  
ческий... Нет, не хотел бы я быть крокодилчиком... Все-таки  
35.000 килограмметров в момент приземления... Все-таки  
почти 500 км в час скорость... И — по морде... Да еще если, ска-  
жем, Лукрецием... Тем более, что ему, как спятившему, все рав-  
но... "Счастлив всякий, кто мог постичь причину явлений..."  
Уффф!.. хотя бы уже потому, что причина явлений настигает вся-  
кого, кто счастлив... или — несчастлив... Как это там... (Деклами-  
рует.)

Вещи есть также еще, для каких не одну нам,  
а много можно причин привести — но одна лишь  
является верной. Так, если ты, например, вдалеке  
бездыханный увидишь труп человека, то ты все-  
возможные смерти причины высказать должен  
тогда — но одна только истинной будет. Ибо нельзя  
доказать, от меча ли он умер, от стужи, иль от бо-  
лезни какой, или может быть, также от яда; но  
тем не менее нам известно, что с ним приключи-  
лось что-то подобное... Так говорить нам о мно-  
гом придется.

Н-да... не хотел бы я быть крокодилчиком... Не разбавить ли  
это дело (Ворочает еще один бюст.) Тибуллом... Тем более, что мо-  
лодым умер... Все больше о девушках... Делия и т. д... Или — Про-  
перцием... Тоже, главным образом, про Цинтию... Кто вас теперь  
вообще, братцы, помнит... А еще лучше — Сенекой... Тем более,  
что — самоубийца... Замечательная эта у него строчка про ссылку,  
когда он еще на острове этом своем — Корсика, что ли? — око-  
лачивался:

"Здесь, где изгнанник живет вместе с изгнаньем своим..."

Очень к местным условиям подходит... Ах, душка Публий, знал бы ты римских поэтов... Меньше бы нервничал. И снотворное тоже бы просто так отдал без торговли... как стоик. Не пришлось бы, зараза, вкалывать тут, как ишаку. И сечка бы функционировала нормально, и крокодилчики или там клубок змей — живы-здоровы. А так — что? Луций Анней Сенека, даром что самоубился, должен канать вниз со скоростью 500 км в час... То есть, делая почти 130 метров в секунду... И то же самое — Лукан, Марк Анней Лукан, автор "Фарсалии"... отчасти, конечно, потому что Сенеки — племянник... И, конечно, потому что тоже самоубился, хотя и молодым... то есть, сам вскрыл вены, чтоб Нерон не зарезал... Ничего это, между прочим, у него про вены эти самые:

"... Никогда столь широкой дорогой не изливается жизнь..."

бррр, конечно; но — здорово. Хорошие были в Риме авторы. Тяжелые только... Вот и ворочай их теперь только потому, что невежда и варвар считается тем не менее римским гражданином, и Тибериева реформа распространяется на него тоже, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая снотворное. Пережитки республики все-таки... Ведь ни строчки из Марциала не знает, ни Ювенала, ни Персия — а туда же: снотворное принимает... Ведь никакой душевной деятельности: одно пищеварение — а вот, поди ж ты, — подай ему барбитурат кальция, и все! Демократия... И через это такие ребята (жест в сторону бюстов.) носы и уши теряют!... Эх! выпить, что ли. (Направляется к амфоре.) Посошок на дорожку. "Пьяной горечью Фалерна/ чашу мне наполни, мальчик..." (Отходит, наполнив стакан, в сторону.) Ну-с, классики. Отрубленные головы цивилизации... Властители умов. Сколько раз литературу обвиняли в том, что она облегчает бегство от действительности! Самое время воспринять упреки буквально. Пора спуститься с облаков (распахивает дверцу мусоропровода.) на землю. От звезд, так сказать, восвояси к терниям. В Тибра, точнее, мутные воды. Как сказано у поэта...

*С этими словами Туллий принимается спихивать один за другим бюсты классиков в отверстие мусоропровода. В камере остаются только два бюста — Овидия и Горация. Туллий запикивает в мусоропровод матрац, подушки и, пятясь раком, сам пролезает в отверстие.*

Т: (обращаясь к оставшимся бюстам). Вас все-таки жалко.

Ты же, небось (похлопывая по темени Горация.) еще и обжиться тут не успел. А ты (к Овидию.) ... как это там... Нек сине те, текум вивере поссум. Ни с тобой, ни без тебя жить невозможно... Что да, то да. (С этими словами Туллий зажимает нос и исчезает в мусоропроводе.)

*Занавес. Конец второго акта.*

### Акт III

*Та же камера. Раннее утро. Солнечные лучи окрашивают потолок, проникая сюда как бы снизу. Громкое пение канарейки: оно и будит Публия.*

П: (потягиваясь). У-ли-тититююююю, ули-тити-тjøююю... тjøюю, тjøюю... Тибулл, Катулл, Проперций... Тjøюю, тjøюю... запела-таки, сучка... слышь, Туллий... а?... спит еще... О-о! (Садится на постели, держась за голову.) О-о, барбитураты эти... дают себя знать... Кофе, значит. (Бессознательным жестом прижимает ладонь к пульта, где вспыхивает имя, номер камеры и слово "Заказ"; столь же машинально Публий нажимает кнопку — в ответ вспыхивает "Кофе"; рука безжизненно падает, раздается характерный шум заваривающей "эспрессо" машины, и в зале разносится запах кофе.) ... Ули-тити-тjøю... А ничего себе, между прочим, стоит, а!.. Сколько же в тебе сантиметров, красавец, будет?.. уууууу... моща-а-а... у-у-у-, щас бы я... как говорил — кто же? Нерон или Клавдий? — в общем, из древних: не верь хую по утру стоячему: он не ебать, он ссать просит. Ыыы-эххх-што ты!..

*Публий откидывает полог и спускает ноги с кровати на пол. Некоторое время он так и сидит; потом встает и направляется к туалету: те же самые звуки, что мы слышали в конце предыдущего акта. Выходит из туалета, возвращается в свой альков, садится, наливает себе кофе, встает, подходит к окну, потягивается, делает первый глоток, достает сигарету, закури-вает.*

День-то какой, ликторы-преторы! Тибр извивается, горы синеют. Рим, сука, весь, как на ладони. Пинии шумят — каждую иголочку видно. Фонтаны сверкают, как люстры хрустальные... Всю Империю, можно сказать, видать: от Иудеи до Кастрикума... Принцепсом себя чувствуешь... Хотя, конечно, может, это только нам так показывают... А, Туллий, как ты думаешь?.. Спит, зараза... Такой день пропускает... Наверно, все же в прямой трансляции...

Но даже и в записи... Потому, видать, и записали, что лучше не бывает... (Пьет кофе.) Туллий, эй, Туллий! Вставай, сколько валяться можно... День-то какой!.. Эй, Туллий.

*Публий оборачивается и только тут замечает что-то неладное: отсутствие бюстов и общий беспорядок в алькове Туллия.*

Туллий!!! (Кидается к алькову.) Туллий, где ты?!? Туллий!!! Туллий!!! (С тревогой, переходящей в ужас понимания, что Туллий исчез.) Туллий, ты где? (Кидается в туалет, из которого — сознает на бегу — только что сам вышел; заглядывает под кровать, ищет везде, где человеческое тело могло бы спрятаться.) ... И классики... (мечется по сцене; целая пантомима, состоящая из бессмысленных, но общих в своей отчаянности порывов: нюхает тряпки, быстро перелистывает валяющийся томик, включает и выключает лампу, ощупывает стекло окна и т.п.) Туллий! Как же так? И Овидий. Овидий и Гораций. Пятнадцать минус два. Равняется тринадцати. Несчастливое число. Так я и знал. Что? Знал — что? Чисел больше нет. Причем тут числа! Причем тут числа! Туллия нет. Такой день пропускает. Что же я буду — с кем же я буду? Я же с ума сойду! На кого же ты меня, зараза, покинууууу! На кого же (Падает на колени.) ты меня оставил, а (широко раскрывая рот.) а? — а? — а? Вот оно, надвигается на меня, вот оно, вот оно — Время-я-а-а. (Глаза полные ужаса, пятится в глубину сцены.) Больше же ничего-ооо не-ееет... (Пауза; спокойным тоном.) С другой стороны, кого-нибудь, конечно, поделят. Свято место пусто не бывает. И лучше бы молоденького... Ведь поделят. Не могут не подселить. Независимо от либералов сенатских. Ведь площадь пропадает. В конце концов, восемь квадратных метров на брата положено. Что же я с этим пространством делать буду, а? Кровать вторая... чашка... тога лишняя... Туллий, как же это, а? Так это и будет выглядеть, когда меня тоже... когда я... "Ничего от них в итоге не осталось, кроме тоги..." Главное — чашка лишняя. Пустая. Туллий!!!!. Стоп. Может, это они просто показывают?.. В записи, конечно, Стереоскопическое трехмерное — в газете было: изобрели. То-то он и не откликается. Потому что — в записи... (Внезапно хватая свой еще дымящийся кофейник и бежит через сцену к алькову Туллия, хватая пустую чашку, наливает в нее кофе и пьет.) Либо — либо — либо — это е м у меня показывают! В трансляции, конечно. Потому и не откликается. Стоп! Этого

не может быть! (Хватается за виски.) Либо — либо это — наклад-ка! Двойная экспозиция! Совмещение записей! Или — записи с трансляцией! Что, собственно, и есть жизнь! То есть — реальность! Оттого и лучше, чем есть, стараешься. Живот втягиваешь... На что же тогда — экран?! (Наливает кофе в свою чашку; пьет.) Или — это — запись — показывает — себя — трансляции. Что есть определение действительности. Формула реальности... В любом случае — как же ему все-таки удалось? (Приоткрывает дверцу мусоропровода, заглядывает вниз.) Туллий! Эгегей!.. В любом случае, если поделят, то лучше молоденького. Даже в случае записи... И чем раньше, тем лучше. (Снимает телефон, набирает номер.) И чем раньше, тем луч... Г-н Претор, это Публий Марцелл из 1750-го. Да, доброе утро. Г-н Претор. Туллий Варрон исчез. Да, не могу его найти. Предполагаю, что бежал. Да. Как? Известно? Вам известно!?! К-к-каким образом? Небось, телекамеры, да? Прямая трансляция... Ну да, так я вам и поверил: "Ничего общего". Чтоoooo? Сам позвонил? С какой-такой улицы? С виа деи Фунари?! Но это... это же в двух шагах от Капитолия! Господин Претор, этот человек спасен... А? Как? Просил передать, что купил просо? Просо? (Кричит.) Какое просо!!!!????.. Какое просо, господин Претор? Вы что? Рехнулись... Как? Для канарейки? Мать честная! Где?! В заведении "Сельва"? Что — два кило? Извиняется, что только два кило? Что было только пол-сестерция? А-а-а-а!!! (Хватается за голову.) По дороге — куда? Домой???? Г-н Претор, что вы имеете в виду... Как? Возвращается?? Что значит — успокоится? А? Так точно... тракливи... транквилли... транкви-ли-за-торы... Есть принять!.. Но он же... Что? Через пять минут? Если не раньше? Сразу после санобработки????.. Есть запить водой... (Вешает трубку.) Е-мое... Е-мое... Е-мое... Что же это, вброд-коня-купать, творится... (Бессознательно шарит ладонью по пульта: там загорается имя-номер заказа: "транквилизатор", затем из отверстия появляется коробочка с таблетками и стакан воды.) ... С другой стороны... с другой стороны, могли и старика подселить. Никакой гарантии.. Закон на всех распространяется... Хотя мальчика тоже могли... (Спохватывается.) Снотворное. (Хватает флакон и начинает метаться по камере, ища, куда бы его спрятать.) Найдет... здесь найдет... и здесь тоже... в книги... нет... Эврика! (Кидается к алькову Туллия и прячет флакон ему под кровать. В этом положении и застаёт его Туллий, выходя из лифта.)

Т: Чего это ты там роешься?

П: А, это ты. (С деланным спокойствием.) Сандалий ищу. Я сандалий свой потерял.

Т: Левый или правый?

П: Правый. Хотя вообще они одинаковые.

Т: Как и сами ноги. Как и сами ноги...

П: Завтракал?

Т: Да, с претором. Но от кофе не откажусь. (Замечает остатки кофе в своей чашке.) Это что такое? Кто пил из моей чашки!

П: Я думал...

Т: Обнаглел, мерзавец! И как быстро! Спал-то хоть в своей? Варвар паршивый.

П: Я думал — не вернешься...

Т: Да если б даже не вернулся!!! На кой тебе две чашки? Срач разводить? По помойке соскучился? Ностальжи де ля бю? Зов предков? Восточный базар. Мухи навозные. (Споласкивает чашку в раковине.) Микробы.

П: Расист... Я думал, не вернешься и, это, ну, как его, стосковался. Дай, думаю, из его чашки выпью. Может, думаю, еще Тул-лием пахнет.

Т: Ну и? Чем же это таким Туллий пахнет?

П: (взрываясь.) Ссакой! Канализацией и ссакой! Дерьмом! Чего ради ты вернулся, а? Ведь сбежал — нет? Рванул когти. На хрена — на хрена — на хрена — возвращаться было?..

Т: А снотворное?

П: Что — снотворное?

Т: Мы же поспорили.

П: Ну?

Т: И ты проиграл.

П: Ну?

Т: Потому и вернулся: а) Доказать, что ты проиграл. б) За снотворным.

П: Ты сошел с ума! Ты сошел с ума! Как ты мог! Ведь сбежал! Не просто сбежал, а — из Башни! Был на свободе! Мог — куда угодно — и — и (Не находит слов.) променял свободу на снотворное!..

Т: А тебе не приходило в голову, душка, Публий, что снотворное — и есть свобода? И что наоборот тоже.

П: Да пошел ты со своими парадоксами! Ведь сбежал! Ведь нашел же способ! И мне, зараза, не сказал!

Т: Ну, ты б тоже со мной не поделился — будь ты на моем месте.

П: Да. Но я бы и не вернулся. Из чего бы следовало, что возможность сбежать все-таки есть! А ты — ты сократил шансы! Минус еще один способ! Который был. А теперь его — нет.

Т: Способ сбежать, Публий, всегда есть. А вот способ остаться... Побег — он что доказывает? Что система несовершенна. Тебя это, конечно, устраивает. Потому что ты, Публий, кто? — варвар. Потому что для тебя Претор — враг, Башня — узилище. И так далее. Для меня он — никто, она — ничто. И они — никто и ничто — должны быть совершенны. В противном случае, почему не вернуться к бараку.

П: И то веселее.

Т: Рано или поздно, все становится предметом ностальгии. Почему элегия и есть самый распространенный жанр.

П: И эпитафия.

Т: Да. В отличие от утопии. Говоря о которой — где мое снотворное?

П: Мало ли где! Ты же вернулся. Сам, конечно; но это все равно, что поймали. Неважно, чем. Голыми руками или идеей. Идеи они самые овчарки и есть!

Т: Даже если и так, мы же поспорили. И ты проиграл. Я выиграл. За выигрышем я и вернулся. (Чеканя каждый слог.) Где — мое — снотворное?

П: Да почему я знаю. Да на свободе таблеток этих завались. Бесплатно дают — указ сенатский. Протяни руку и готово... Свобода и есть снотворное... Навалом... А ты...

Т: Речь, Публий, шла не о вообще снотворном.

П: То есть?

Т: А о т в о е м снотворном.

П: (вздрагивает) . То есть, о моей свободе?

#### *Пауза*

Т: Оставим громкие слова, Публий. Где флакончик-то?

П: Где правый сандалий. У тебя под кроватью.

Т: Гм. Хитро. (Смотрит с интересом на Публия.) Я б ни в жизнь не догадался. (Достает флакон из-под кровати и прячет его в складках тоги.) Переоденусь пойду — промок весь. Льет, как из ведра.

П: (бросая быстрый взгляд в окно, где — сияющий полдень). Но — сейчас лето, да?

Т: (из-за ширмы). В Риме, Публий, всегда лето. Даже зимой.

П: (снова глядя в окно). По крайней мере, утро сейчас, а? Часов, как говорили при христианстве, десять.

Т: Утро, утро. Не волнуйся. С этим они еще дурака валять не научились.

П: Не в их интересах. Я имею в виду — сокращать сутки.

Т: Это почему же?

П: Да потому что пожизненно. И удлинять не в их интересах тоже.

Т: (задумчиво). Н-да, чревато эпосом. Ни больше, ни меньше. (Выходит из-за ширмы, в свежевыглаженной тоге, направляется к столу, подливает себе кофе, достает из недр тоги сигару и разваливается на лежанке. Первое кольцо дыма.)

П: Не поделишься?

Т: ?

П: Ну, этим — как тебе это провернуть удалось. Планом — и так далее. Теперь ведь все равно. Так сказать, пост-фактум.

Т: Ты снотворным своим и пост-фактум бы не поделился.

П: Да причем тут таблетки!? Мог же все забрать — пока я спал...

Т: (четко и раздельно). Я не вор, Публий. Я не вор. Даже ты из меня вора не сделаешь. Я — римлянин, а римляне не воруют. Я этот флакончик заработал. Понял? За-ра-бо-тал. Своим горбом. Причем, буквально.

П: Подумаешь, горбом. Классиков в шахту покидал. Так и христиане делали.

Т: Христианам легче было. Во-первых, шахты и были шахты. Им ведь же что, им шахту, может, только показывают, сомневаться не приходилось. Во-вторых, не только покидал, но и сам последовал...

П: На то они и классики. Властители умов... Словом, сам себе палач, сам себе мученик. И все из-за снотворного несчастного.

Т: Что интересно (Вертя в пальцах флакон с таблетками.) это именно он, флакончик этот (Встряхивает таблетки.) идею подсказал.

П: То есть как! (Вскакивает.)

Т: А так, что это — цилиндр, и ствол шахты — цилиндр. Только длиннее. И не такой прозрачный. Хотя тоже узкий. Метра в диа-

метре не будет. Сантиметров 75, не больше. И стенки, зараза, очень скользкие.

П: Смазаны, что ли?

Т: Это; и еще от сырости. Плесень местами.

П: Ну и?

Т: Я и решил: не просто солдатиком, а матрац сначала туда засунуть, пополам сложенный. Он же, матрац этот, распрямиться захочет — то есть, застревать станет. Трение создаст. Чего, если солдатиком лететь, может и не случиться...

П: Это точно.

Т: Так мы вместе вниз и поехали. Ускорение как возникает — матрац к стенке ствола ногой прижимаешь. Вроде как тормозишь...

П: Долго заняло?

Т: Примерно как — э-э — по-большому сходить. Или если душ принимаешь. Хотя пахло, как по-большому. И темно.

П: А потом?

Т: Потом — сечка, классиками разрушенная. Потом — клоака: катакомбы бывшие. И тебя в Тибр сбрасывает... Потом поплыл.

П: Когда мы в Лептис Магне когортой стояли...

Т: Публий! умоляю...

П: Да нет; просто у меня лавровый венок по плаванию был... Э-э, да чего там. (машет рукой.) Они там сейчас, поди, похуже прежней сечку заделают. Электронную. Либо лазерную. По последнему слову...

Т: Ага — распылители. Элементарные частицы... С другой стороны: мы у них тоже не одни. Ресторан все-таки. Опять же антенны телевизионные. Другие камеры. Может быть, даже ПВО. Отходов-то сколько.

А: А где, думаешь, у них кухня? Под или над нами?

Т: Под, наверное. Все равно же продуктам, в итоге, вниз канать, да? А так у них шанс подняться имеется. На мир взглянуть.

П: (тоскливо). Мир лучше вблизи рассматривать... Чем ближе, знаешь, тем чувства сильнее обостряются.

Т: Только обоняние... Если ты по миру так стосковался, я могу и не спускать после себя в уборной.

П: Острослов. Думаешь, есть какая-то разница? После тебя, то есть?.. Этих-то (С внезапной надеждой в голосе, тыча пальцем в два оставшихся бюста.) их-то ты — зачем оставил?

Т: (качая головой). Нет, не за этим... Просто на развод, на

племя... Большая личная привязанность. С детства Назона любил. Знаешь, как "Метаморфозы" кончаются?

Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба не уничтожит, ни медь, ни огонь, ни алчная старость. Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима будут народы читать; и на вечные веки во славе (ежели только певцов предчувствиям верить) — пребуду.

П: Да положить я хотел на "Метаморфозы"..!

Т: (продолжая). Обрати внимание на оговорку эту: про предчувствия. Да еще — певцов. Вишь, понесло его вроде: "...и на вечные веки во славе..." Так нет: останавливается, рубит, так сказать, сук, сидючи на коем, распелся: "ежели только певцов предчувствиям верить" — и только потом: "пребуду". Завидная все-таки трезвость...

П: (с отчаянием). Да какое это имеет значение?! Ты — про предчувствия, а они — новую сечку устанавливают! Это и есть предчувствие!

Т: А то отношение, что он прав оказался. Действительно "на веки вечные" и действительно "во славе". А почему? Потому что сомневался. Это "ежели только певцов предчувствиям верить" — от сомнения. Потому что у него тоже впереди ничего, кроме "вечных веков", не было. Кроме Времени, то есть. Потому что тоже на краю пространства оказался — когда его пацана твоего тезка, Октавиан Август, из Рима попер. Только он на горизонтальном краю был, а мы — на вертикальном... "Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима..." Что да, то да: раскинулась. Все-таки тыща почти метров над уровнем моря. Да еще две тыщи лет спустя... А если их еще перемножить... Этого он, конечно, не предполагал — что его в разреженном воздухе читать будут.

П: Что значит быть классиком!

Т: Осел ты, Публий: осел, а не варвар. Верней — варвар и его осел. ... Как сказано — у поэта. Про другого поэта... Классик классиком становится, Публий, из-за времени. Не того, которое после его смерти проходит, а того, которое для него и при жизни, и потом — одно. И одно оно для него, заметь, уже при жизни. Потому что поэт — он всегда дело со временем имеет. Молодой или старый — все равно. Даже когда про пространство сочиняет. Потому что песня — она что? Она — реорганизованное время... Любая.

Даже птичкина. Потому что звук — или там нота — он секунду занимает, и другой звук секунду занимает. Звуки, они, допустим, разные, а секунды — они всегда те же. Но из-за звуков, Публий, — из-за звуков и секунды становятся разными. Спроси канарейку свою — ты же с ней разговариваешь. Думаешь, она о чем поет? — о Времени. И когда не поет — тоже о Времени.

П: Я думал — просто жрать хочется. Когда поет — надеется. Не поет — бросила.

Т: Кстати, я тут ей проса достал. Два кг. Больше денег не было.

П: Знаю. На виа деи Фунари купил.

Т: Ага, в "Сельве". Откуда ты знаешь?

П: Претор сказал... Это где эта стела, на которой "Мemento Мори" написано?

Т: Ага. Я там гетеру одну когда-то знал. Совершенная прелесть была. Брюнетка, глаза, как шмели мохнатые. Своих павлинов держала. Грамоте знала; с богдыханом китайским была знакома... Откупщик ее, за которого она потом своим чередом замуж вышла, эту "Сельву" и открыл — птичьим кормом чтоб торговала, при деле была. Скотина был порядочная, с мечом за мной по всему Форуму гонялся...

П: Звучит элегически.

Т: Это от избытка глаголов прошедшего времени.

### *Пауза*

Пофехтуем?

П: С утра пораньше? Как сказала девушка легионеру.

Т: Именно. Размяться. Кровь разогнать... Взвешивался сегодня?

П: Нет еще. Но вчера — да. Та же самая история: полнею. Почему это, интересно, прибавить гораздо проще, чем потерять? Теоретически, должно быть одинаково просто. Либо одинаково сложно. (Встает и подходит к пульту.) Мечи или кинжалы?

Т: Мечи. А то у тебя изо рта.

П: У меня только пахнет. У тебя вываливается... Парфянские или греческие?

Т: Греческие.

П: (нажимая на кнопки пульта, где появляется текст заказа). Что все-таки природа хочет сказать этим? Что увеличиваться — в объеме — естественней, чем уменьшаться?

*Появляются мечи; Публий и Туллий разбирают их, продолжая беседовать.*

И — до каких пределов? То есть, с одной стороны, когда развиваешься — из мальчика в мужа — то увеличиваешься. На протяжении лет примерно двадцати-тридцати. И — возникает инерция. Но почему именно живот? Оттого что вперед двигаешься, что ли?.. С другой стороны — куда двигаешься-то? Известно, куда. Где он вообще не понадобится. Ни его отсутствие. На том-то свете...

Т: (примеряясь к мечу). Может, чем больше объем, тем подольше на этом задержишься. Гнить, по крайней мере, дольше будешь. Распад, Публий, тоже форма присутствия.

П: Да — если не кремируют. От претора, конечно, зависит... Начали! До первой крови.

Т: До первой крови.

*Фехтуют*

П: Но если увеличиваться (Выпад.) естественно, то уменьшаться (Отскок.) — искусственно.

Т: А что плохого в искусственном? (Выпад.) Все искусственное естественно. (Еще выпад.) Точней, искусственное начинается там, где естественное (Отскок.) кончается.

П: А где кончается (Выпад.) искусственное?

Т: Весь ужас в том, Публий (Контр-выпад.), что искусственное нигде не кончается. Естественное естественно и кончается. (Теснит Публия к его алькову.) То есть становится искусственным. А искусственное не кончается (Выпад.) Нигде (Еще выпад.), никогда (Еще выпад.) ни под каким видом. (Публий падает в альков.) Потому что за ним ничего не следует. И, как сказано у поэта,

это хуже, чем детям  
сделанное бобо.  
Потому что за этим  
Не следует ничего.

П: У какого поэта?

Т: У восточного.

П: Может, искусственное, если долго продолжает быть искусственным, в конце концов становится естественным. Яичко-то стано-

вится курочкой. А ведь, глядя со стороны, ни за что не скажешь. Изнутри — тоже вряд ли. Потому что искусственным выглядит... Мне всегда казалось, Туллий, на яичко глядя, — особенно утром, когда разбиваешь, чтоб глазунью сделать, — что существовала некогда цивилизация, наладившая выпуск консервов органическим способом...

Т: В этом смысле мы все — консервы. Чья-то будущая яичница. Если, конечно, не кремируют. Меч возьми.

П: (нехотя выбирается из алькова). Отяжелел я. Вот в Ливии, помню... (Внезапно всердцах.) Да на кой ляд эту форму поддерживать! Худеть! Особенно — если чья-то будущая яичница... Либо если кремируют... Да и тебе же лучше: чем я толще, тем больше пространства занимаю. Тем больше тебе времени этого твоего остается... Ведь всем все равно, с тебя начиная, есть ли Публий Марцелл, нет ли его. И если даже есть, какое кому дело, как он выглядит? Кого это интересует? Богов? Природу? Цезаря? Кого?.. Богам вообще на все положить. Цезарю — тоже. В этом смысле он — точно помазанник ихний. Природе?.. Безразличны ли природе очертания дерева?

Т: Похоже на тему для диспута.

П: Я думаю, природе на силуэт дерева наклеить! Хотя она его четыре раза в году меняет. Но в этом безразличие и сказывается. Пресыщенность. Листики обдирает... А у него, может, только и есть, что листики. Оно, может, всю дорогу только тем и занято было, что их пересчитывало. Денежку свою зелененькую золотую... И — рраз...

Т: Ну, распустил сопли. Меч, говорю, возьми... И вообще — вечнозеленые тоже есть. Лавр, допустим. Хвоя. И так далее.

П: Меч я, допустим, могу взять. Дальше что? Скрестим мы их. Разойдемся. Выпад, контр-выпад, дистанция... Дальше что? Устанем. Дальше что? Ты выиграешь — я проиграю. Или наоборот. Какая разница? Кто этот поединок увидит? Даже если я тебя убью — или наоборот. Хотя мы договорились. До первой крови. Но — кто это увидит? Кто это добро смотреть станет? Тем более в прямой трансляции? Даже претор не будет. Претор это в записи посмотрит и, если самоубийства нет, еще неровен час, запись сотрет. В конце рабочего дня. Не потому, что пленки жалко или бобины тоже смазывать надо: потому что сюжета нет.

Т: Нет. Они едят все без разбору. Стирать им декретом запрещено. Мало ли — можно почерк преступника установить. Даже

если преступление и не совершено. Все равно — почерк. Возможного преступника. Чтоб раскрыть возможное преступление. Что есть формула реальности... Так что сюжет есть, Публий. Сюжет всегда возникает независимо от автора. Больше того — независимо от действующих лиц. От актера. От публики. Потому что подлинная аудитория — не они. Не партер и галерка. Они тоже действующие лица. Верней, бездействующие. У нас один зритель — Время. Так что — пофехтуем.

П: (нехотя беря меч). Ну, от этого зрителя аплодисментов хрен дождешься. Даже если выиграешь. Тем более, если проиграешь. Гарде.

*Фехтуют.*

Т: Потому что выигрыш (Выпад.) — мелодрама и проигрыш (Снова выпад.) — мелодрама. (Отступая под натиском Публия.) Побег — мелодрама, самоубийство — тоже. Время, Публий, большой стилист... (Наступает.)

П: Что же (Защищаясь.) не мелодрама?

Т: А вот (Выпад.) — фехтование. (Отступает назад.) Вот это движение — взад-вперед по сцене. Наподобие маятника. Все, что тона не повышает... Это и есть искусство... Все, что не жизни подражает, а тик-так делает... Все, что монотонно... и петухом не кричит... Чем монотонней, тем больше на правду похоже.

П: (бросая меч). Туше; но так можно махать до светопреставления.

Т: (продолжая еще некоторое время проделывать соответствующие движения мечом). И во время одного. И после. И после-после-после... До первой крови. До второй. До-последней-капли-крови... Вот — почему — люди — воют... Уфф... мы ж договаривались: до первой...

П: Ты мне колено задел.

Т: Ох, прости. Не заметил. Надеюсь, несерьезно.

П: Пустяки. Царапина. Как сказал лев гладиатору...

Т: Вата и йод в аптечке. Перевяжи... Пойду душ приму, потный весь.

П: (задумчиво). Не-е, пусть сочтется. По крайней мере, доказывает, что — еще не статуя. Не из мрамора. Что — не классик. Поскольку есть колено. Вполне — в своем роде — классическое. Не хуже, чем у "Бдения Алкивиада". Хотя видел только копию.

Или — “Дискобола”. Тоже копия. И там не колено главное... Все равно — классическое. Таким коленом наместники местных царьков давят. На мокром полу мраморной купальни. На своей загородной вилле. Вечер лилового цвета... Светильники в нишах трепещут, масло плавится. Пальмы кронами перешептываются, как ожившие иероглифы. И царек, сучара, на мокром полу извивается, воздух ртом ловит. Не-е, хорошее колено. Римское. Что бы там Туллий ни наговаривал на пленку... Пусть сочится... пусть. И даже еще расковыряю (Берет меч и, морщась, надрезает кожу; после этого выдавливает пальцами из надреза кровь. За этим занятием — надрезыванием и выдавливанием — и застает его выходящий из душа Туллий. Некоторое время он наблюдает за Публием: потом делает шаг к нему.)

Т: Ты что?! Совсем охренел!? Прекрати сию же минуту! Варвар, мать твою! Дикарь! Где вата?

П: (поднимая глаза, в которых слезы) . С легким паром, Туллий.

Т: Идиот недоделанный! (Кидается к аптечке, достает йод и вату и бросается назад.) Вспомнил свои азиатские штучки. Сколько волка ни корми... (Наклоняется к Публию, чтобы перевязать колено.) Люди на Канопус высаживаются, а тут...

П: (отмахивается.) Оставь меня в покое! Не трогай.

Т: Ну да. Сейчас мы впадем в транс. Начнем раскачиваться. Знак себе на лбу нарисуем. И споем что-нибудь, лишенное текста. Так, да? (Снова наклоняется к Публию.) Дай ногу, не дури!

П: Отойди, говорю. (Делает угрожающий жест мечом.) Оставь меня в покое. Не трогай. Пускай сочится...

Т: Да прекрати ты этот...

П: Пускай сочится. Она, может, единственное доказательство, у меня оставшееся, что я действительно жив. А ты ее остановить хочешь. На кого ты работаешь?

Т: Ты... по-моему... сошел с ума.

П: Телекамеры эти вокруг. Всех подозревать начинаешь. Почему я знаю, что ты не робот. С камерой встроенной. Вживленной органически. Может, даже помимо твоей воли. Еще при Тиберии эксперименты начали. Я читал. На зайчиках. Тем более — вернулся. Тогда и вживили... Пускай сочится. По крайней мере, хоть буду знать, что сам — не робот. А то сомневаться начал... Может, все — ВСЕ — тебя включая — на пленку записано. И мне показывают. Стереоскопически. Включая запахи. Как сад и лебедей. Или берег моря. Потому и декорация одна и та же: бюджет ограничен

ный. Или — классицизм. Три единства блюдут. И почему бы и нет. Если между классицизмом и натурализмом выбирать, я б и сам классицизм выбрал. И почему отказывать компьютеру в снобизме? Снобизм тоже форма отчаяния. В конце концов, классицизм в него запрограммирован. Не с потолка взял. И говоря о потолке, Туллий, смотрю я на него и не знаю: я ли на него смотрю — или он на меня смотрит...

Т: Чего ты городишь.

П: Весь вопрос в том, на кого ты работаешь... Что я на него смотрю, это и ежу ясно. Что он на меня... Но если да, если он осуществляет за мной наблюдение — то он мне больше внимания уделяет, чем я ему. И кто тогда здесь одушевленный объект?.. Конечно, если ты не робот, то тогда внимание его расплывается... Нет, пусть сочтется... Он этого еще не видел. Что-то новенькое...

Т: Перевяжи, говорю. Смотреть противно.

П: Значит — не робот... Хотя, с другой стороны, я бы тоже трещины в потолке забдел... Трещина-то не записана. Только возможность катастрофы и отличает реальность от фикции.

Т: Мелодрама. У всех варваров врожденное чувство мелодрамы.

П: (кричит). Должен же я знать место, в котором умру!!!

Т: А-а-а... вон оно что. (Кидает Публию бинты и вату). На, перевяжи. (Отходит к окну: начинает, глядя в окно, говорить, но потом спохватывается и поворачивается сначала лицом, потом — спиной к публике. Когда он стоит спиной, он как бы подпирает воображаемую стену, которой служит рампа.) Люди, Публий... люди делятся на тех, для которых важно — где, и на тех, для которых важно — когда... Есть еще, конечно, третья группа. Для которых важно — как. Но это — как правило — молоденькие, и они не в счет.

П: Да кто ты такой!? Откуда ты знаешь, на кого люди делятся?

Т: Только на эти две категории. Сам... э-э-э... процесс обуславливает их количество. Так сказать, ограничивает выбор. И их только две.

П: Ну да; и я, ясное дело, выбрал неправильно. Облажался. И то: хрен ли мудрить? Раз пожизненно — то где еще? Как не в этих четырех... тыфу... в этом... как его?..

Т: Пи-Эр-квадрате?

П: Во-во. В Пи-Эр-квадрате. В своей кровати. При всеобщем обозрении. На миру и смерть красна... Это самая большая порно-

графия и есть — это показывать. Это — и еще роды. Потому что это всегда не ты. Даже когда свои собственные роды потом смотришь. В записи. Все равно — не ты.

Т: (достает с полки "Свод Законов"). Буква "П"... так... "Порнография". Всякий неодушевленный предмет, вызывающий эрекцию..." Вот что говорит по этому поводу Тиберий.

П: Да что ты мне этого кретина все время в нос тычешь? Тиберий то, Тиберий се. Прямо как христиане со своим... как его... неважно, только тридцать три года ему и было... Что он знал? ... А если тебе под сорок — тогда как? Или под пятьдесят?.. На этом и погорели... Тиберий... Неодушевленный предмет... Эрекция... Самая большая эрекция — это когда... не ты умираешь...

Т: Н-да, будь я последним человеком на земле...

П: ...у тебя бы стоял, как эта Башня... С другой стороны, зачем отказывать ближнему в удовольствии. Пускай записывают. Или транслируют. Может, последнюю фразу удачную скажу... В конце концов, Туллий, я против всего этого (Делает широкий жест рукой.) Пи-Эр-квадрата не возражаю. Клаустрофобия, конечно, разыгрывается, как подумаешь, что именно здесь... И сбежать хочется не столько отсюда как места жизни, как отсюда как места смерти... То есть, я, Туллий, не против смерти — не пойми меня превратно. И я не против Башни и не за свободу... Свобода, может, и не лучше Башни, кто знает... я уже не помню ... Но свобода есть вариация на тему смерти. На тему места, где это случится. Иными словами, на тему гроба... А то здесь гроб уже — вот он. Неизвестно только — когда. Где — это ясно. Ясность меня, Туллий, как раз и пугает. Других — неизвестность. А меня — ясность.

Т: Да что плохого в этом помещении... Ну, перебрали, наверно, малость со скрытыми камерами. Так это только со свободой сходство усиливает... К тому же, кто знает, может, ты и прав. Может, и вправду нам все это просто показывают. И скорей всего — в записи. Вполне возможно, что все это суть условность. Будь это реальностью, не вызывало бы столько эмоций.

П: Тут я и умру — реальность это или условность...

Т: Это и есть недостаток пространства, Публий, это и есть... Главный, я бы сказал... Что в нем существует место, в котором нас настанет... Потому, видать, ему столько внимания и уделяют.

П: Ну, во Времени тоже такие места есть. Сколько влезет...

Т: (назидательно). У Времени, Публий, есть все, кроме места. Особенно, с тех пор, как числа отменили... А пространство... любая его точка может стать... Поэтому его так и живописуют. Все эти пейзажи и ландшафты. Этюды с натуры. Чистое подсознание... Со Временем этот номер не проходит... Так, разве что портрет там или натюрморт...

П: И тебе все равно — где?

Т: Мне все равно — где, и мне все равно — когда.

П: Вот они, римские доблести! Стойкость патрициев! Муции Сцеволы! Руки жареные! Если тебя не интересует ни где, ни когда — что же тебя интересует? Как?

Т: Меня интересует — сколько.

П: Сколько — чего?

Т: Сколько часов бодрствования представляет собой минимум, необходимый компьютеру для определения моего состояния как бытия. То есть, что я — жив. И сколько таблеток я должен одновременно принять, дабы обеспечить этот минимум?

П: ???

Т: Не пойми меня превратно. Дело не в том, что мне надоело с тобой разговаривать. Хотя отчасти да. И не в том, что я не спал всю ночь. Что тоже правда. Просто действительно хочется уподобиться Времени. То есть, его ритму. Поскольку я не поэт и не могу создать новый... Единственное, что я хотел попытаться — сделать свое бытие чуть монотонней. Менее мелодраматичным. Меньше на зрителя рассчитанным... Грубо говоря — спать больше. Восемь часов сна, шестнадцать бодрствования: эту версию Времени я знаю. Может, это можно переиграть.

П: (ошеломленный всем услышанным) . То есть как?!

Т: Скажем, шестнадцать сна и восемь бодрствования. Или восемнадцать сна, шесть бодрствования. Чем меньше бодрствования, тем больше сна — и тем интересней версия Времени. Пространство — оно, вишь, Публий, всегда одинаковое — горизонтальное. А Время... Я уже пытался кое-что. Ну, там, спать днем, не спать ночью. Или бдеть трое суток подряд и наоборот. Но во-первых, в этих условиях (Кивает на окно.) дополнительная энергия расходуется на определение дня и ночи. Да и сутки просто так не измеришь. А во-вторых — и это беспокоит меня сильнее всего — есть некий минимум бодрствования, после несоблюдения которого компьютер прекращает подачу пищи. И тогда придется выпрашивать у тебя. Скорей всего, менять на снотворное. Что испортило

бы весь замысел. Не говоря уже о том, что вступили бы в отношения, не предусмотренные Тиберием при организации Башни, и, скорее всего, неприятные нам самим...

П: (быстро). Ты что имеешь в виду под "неприятными"?

Т: Ну, там, меновая торговля, воровство, подозрения, доносы Претору... ты не жил в Риме... И пока бы я объяснил Претору, в чем дело, и пока бы он согласился поверить...

П: Может, Претора и спросить, сколько таблеток тебе можно?

Т: Что ты! Что ты! (Шепотом, поднося палец к губам.) Я же не имею права на снотворное больше. Я же свое выбрал еще в прошлом месяце... Нет, никто ничего знать не должен... Тайна... В конце концов, если поэт интересуется Временем профессионально, то я — любительски. А любитель действует по наитию... Вот ты, например, — сколько ты на ночь принимаешь?

П: Две, две-с-половиной. Три.

Т: Значит, так; три таблетки — восемь часов сна. Шестнадцать часов, стало быть, равны — шести таблеткам. Запомним: шестнадцать — шести. То есть, шесть — шестнадцати. Допустим, нам нужно семнадцать часов. Чтоб получить семнадцать, надо увеличить дозу с шести на — сколько? Стоп. Делим 16 на 6. То есть, часы на таблетки. В итоге получаем... Стоп. Вздор. Делим таблетки на часы. Шесть на шестнадцать. Получаем, прежде всего, дробь. Публий, ты следишь за ходом мысли?

П: С завистью и с восхищением.

Т: погоди, то ли еще будет. Значит, дробь плюс... Сбился. В общем, даже если четными оперировать, то получается: одна таблетка равна четырем часам сна. Ничего себе таблеточка! Дает! Значит, одна четверть таблетки равна часу сна. Значит, если мы хотим придавить 17 часов, нам надо... нам надо... штук семь с хвостиком... Так, что ли? (Неуверенно.) ... Нам надо...

П: На кой тебе Время? Сроку, что ли не хватает? Ведь — пожизненно.

Т: В том-то и дело, друг Публий, что пожизненно переходит в посмертно. И если это так, то и посмертно переходит в пожизненно... То есть, при жизни существует возможность узнать, как будет там... И римлянин такой шанс упускать не должен.

П: Подглядеть, значит?..

Т: (почти кричит). Оно же — подглядывает!..

П: Подглядеть, значит. Подсмотреть. Через дырочку...

Т: В известном смысле. Но — не глядя. С закрытыми глазами. В горизонтальном положении.

П: Когда мы когортой в Галлии стояли...

Т: Публий! Умоляю! Ради всего святого...

П: ..... я одного грека знал. До чего был предприимчивый. Домами торговал. И был у него один дом. Шести — или восьмиэтажный — не помню. Нормальные семьи жили. Муж, жена, ребенок. Так он что, бестия, придумал? Он им вместо лампочек миниатюрные телекамеры вкрутил. За три сестерция можно было целый час семейную жизнь наблюдать. Совокупление, то есть. Весь цимес именно в том, что сегодня они могли решить не делать этого... И плакали твои сестерции. А когда и наоборот...

Т: Чего ради ты мне это рассказываешь?

П: Очереди к нему стояли! Потому что — элемент вероятности. Это, знаешь, как распаляет! И особенно, если у них ребеночек... И они его сначала спать укладывают... Или он среди дела просыпается... Что ты!.. И она, уже на полном взводе, со станка слезает и в детскую канает... И особенно, если блондинка... И потом возвращается, а у него эта вещь...

Т: Прекрати, я сказал!

П: Колоссально он заработал, грек этот. Целую сеть потом открыл. "Аргус" компания называлась. Не слышал?

Т: Нет.

П: Значит, своим умом дошел.

Т: (пересчитывая таблетки во флаконе). В старые добрые времена, Публий, таким, как ты, язык выдирали, уши обрезали и глаза выкалывали. Или кожу живьем сдирали. Или кастрировали... Может, я только потому и терплю все это, что казнить уже наказанного — во-первых: камерой, во-вторых; тем, как твои мозги устроены, — получается тавтология. Театр в театре.

П: Или как если тебе в собачье дерьмо ступить... (Прикладывает ладонь к животу). Полдник скоро.

Т: Пойду лягу. Все-таки ночь не спал. (Пересчитывает таблетки.) Спать, спать... Не съдай мою порцию, а... что у нас сегодня? ... Паштет из голубиной печенки и... форель с яйцами аиста... Н-да, наконец-то рыба... Яйца, по крайней мере, оставь... позавтракать... Возьму для верности (Высыпает на ладонь.) восемь (Наливает вина в бокал; глотает снотворное и запивает.)

П: Не уходи, постой... Что же я-то — делать буду? Шестнадцать часов подряд.

Т: Семнадцать.

П: Тем более! Ты обо мне подумал? Эгоист! Патриций! Все вы такие! За это вас и не любят... Что я-то делать буду? На меня-то тебе наплевать, да?

Т: Не ори! Телик посмотришь. Музыка опять же. Прогулка потом. Книжки... Вон классиков этих почитай... Классика вообще приятней читать, когда знаешь, как он выглядел...

П: Да с кем же я разговаривать буду?! Вслух, что ли. Да я ж... Семнадцать часов. Один. Да это ж с ума сойти... Да я ж не выдержу...

Т: Да чего там выдерживать, о чем ты толкуешь... (Зевает.) Наоборот — в покое тебя оставляю... (Зевает.) А когда проснусь, расскажу, чего видел... про Время... там тоже показывают... (Зевает.)

П: Не зевай!.. (Хватает Туллия за полу тоги.) Постой!.. не ложись еще... Как же так... (Хватается за голову.) ... один, в этом Пи-Эр-квадрате... как точка, циркулем обведенная... Да что ж ты, подлец, делаешь... Будто я не человек... Не зевай!!! Ой, у меня голова сейчас лопнет. Ты что — не понимаешь?!..

Т: (широко зевая). Человек, Публий... Человек (Зевает опять.) ну, что в человеке особенного... (Зевает.) Отвернись.

П: Зачем?

Т: Снотворное спрятать. И переодеться.

П: (отворачивается). Я бы и так не взял... Только не долго.

Т: (зевая). Щас... щас... (Прячет таблетки в клетку с канарейкой). Щас, щас. (Возвращается в альков.) Так, где моя (Зевая.) тога?.. шерстяная которая...

П: (оборачивается). Лучше белую возьми.

Т: Просили же тебя отвернуться. Переодеваюсь я...

П: Я только так... глазами помацать... Зачем ты эту берешь? Возьми белую.

Т: (зевая, почти голый). Нет, серая лучше... Больше на Время похоже. Оно же, Публий, (Зевает.) серого цвета... как небо на севере... или там волны... (Зевает; широко разворачивает тогу.) Видишь?.. Так Время и выглядит... или (складывает ее пополам.) так... или — так (Складывает по-другому.) ... Серая тряпочка. (Заворачивается в тогу и ложится.)

*Пауза*

П: Как же так. Я же не буду знать, сколько времени прошло. Ведь песочные часы тоже отменили.

Т: Не волнуйся. Я сам проснусь. Когда семнадцать часов пройдет. (Зекает.) Это и будет означать, что семнадцать часов прошло... когда проснусь...

П: Как же так...

*Пауза*

Т: Публий.

П: А?

Т: Сделай мне одолжение.

П: Чего?

Т: Пододвинь ко мне поближе Горация.

*Публий передвигает бюст.*

Ага. Спасибо. И О — (Зекает.) — видя.

П: (ворочая бюст Овидия) . Так?

Т: Ага... чуть поближе...

П: Так?

Т: Еще ближе...

П: Классики... Классик тебе ближе, чем простой человек...

Т: (зевая) . Чем кто?

П: Чем простой человек...

Т: А?.. человек?.. Человек, Публий... (Зекает.) Человек одинок ... (Зекает опять.) ... как мысль, которая забывается.

*Занавес*

## МАЛЬЧИК С ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Нас предупредили, что в нашем классе будет учиться мальчик, который был в оккупации и остался круглым сиротой.

Война перевалила вершину и катилась вниз, правда, пока еще по нашей территории...

Когда мальчика ввели в класс, наступила такая гробовая тишина, что некоторые даже встали. Я тоже встал, а Сеня Бередихин, который сидел один на задней парте, стал делать ему знаки: иди, мол, сюда, у меня есть тут для тебя свободное место. Мальчик так и сделал. Он направился к задней парте и сел рядом с Бередихиным, а пока он шел, было слышно, как о деревянные доски пола шаркают подошвы его солдатских ботинок...

Мальчик был высокий, худой, голову держал низко опущенной, глаз не поднимал, но сразу же, едва я его увидел, как понял, что мальчик этот — еврей. Меня изнутри словно бы ударило: еврей!

Было время, когда мне казалось, что людей отличают друг от друга только с помощью имен и фамилий. А то, что люди говорят на разных языках, думал я, так ведь и птицы тоже по-разному, однако все они птицы... Отличать евреев от других людей я научился вскоре после того, как началась война. Я тогда узнал, что немцы в первую очередь всегда убивают коммунистов и евреев. Немцы были нашими смертельными врагами, коммунисты — лучшими из лучших. А евреи?

И тогда я стал очень сильно задумываться над особенностями своего происхождения. Когда по радио объявляли, что немцы снова расстреляли большую партию женщин, детей и стариков, я уже знал — это были евреи...

“Но как они их всех собрали? По каким признакам?” — пытался я представить. Я рассматривал свои плечи, пальцы, ногти, лоб, щеки, волосы, глаза, ноздри и незаметно сравнивал себя с другими мальчиками. Поначалу я никакой разницы между евреями и неевреями не обнаруживал, но через некоторое время, действительно, все чаще и чаще стал угадывать... И все-таки это угадывание очень долго казалось мне каким-то странным, чуть ли даже не загадочным. Очень трудно было понять, почему каждая отдельная часть лица человека никакими признаками, по которым можно было бы определить, еврей этот человек или нет, не обладает, а вот все

черты лица, собранные вместе, способны ответить на этот вопрос иногда очень даже точно...

Вместе с тем мне было уже известно, что каждое знание для чего-то бывает нужным. И мне никак не удавалось додуматься, для какой именно цели требовалось знание о евреях. Для чего оно? Чтобы выбирать себе по этому признаку друзей? Но это было так глупо... Специально для убийства? Но эта мысль не умещалась в голове, до того она казалась мне невероятной...

Ведь для того, чтобы убивать, надо сильно ненавидеть. Я это уже знал. Но вот из всех моих знакомых, например, не было ни одного такого человека, которого я так сильно ненавидел бы, чтобы захотел его убить.

“Как же тогда можно ненавидеть человека, — спрашивал я себя, — которого совсем не знаешь?”

Хотя, конечно, думал я, бывают и среди знакомых такие люди, которые обязательно нам чем-нибудь неприятны. Но это совсем другое дело. Например, когда я, в который уже раз, отказался сидеть на одной парте с Сеней Берединым, ребята меня спросили:

“Ты что к нему имеешь, что он тебе сделал?”

“Он чижа раздавил”, — ответил я.

“Но он же сказал тебе, что у него это получилось случайно. Мы все ему поверили, только один ты ему не поверил...”

“Да, не поверил, потому что я один-единственный из всех вас видел это собственными глазами...”

В тот день, а было это в первую военную зиму, стая чижей бесшумно качалась на ветках, добывая быстрыми движениями клювиков березовое семя из сережек. Бередин приладил к рыбацкой удочке петлю из конского волоса и этой петлей снял с дерева одного чижа. Я подбежал к Бередину, чтобы рассмотреть чижа вблизи, но он вдруг засмеялся и так вот, смеясь, заглядывая мне в глаза, с силой стал сжимать пальцы той руки, в которой была птица, пока наружу не выползли кровь и помет...

Вот почему мне было неприятно, что мальчик и Бередин оказались сидящими за одной партой. Конечно, мальчику такое соседство ничем не угрожало. Ничего опасного в этом не было. Даже наоборот. Все видели, как Бередин заботится о мальчике. Он часто отдавал ему свой хлеб и молоко, которое мы получали на большой перемене. И все же мне было обидно за мальчика,

что он дружит с самым плохим человеком из нашего класса. И тогда я решил рассказать мальчику про чижика.

Однако весь мой рассказ он выслушал совершенно спокойно и молча. Только пожал плечами. Это пожатие плечами было таким небрежным, что даже могло означать: "Ну и что, мол, из этого?"

Тогда я сказал:

"Слушай, может быть это напрасно говорят, будто бы у тебя немцы всю родню убили. Откуда это тебе известно? А вдруг все они живые, но только ты об этом ничего еще не знаешь?"

"Этого никак не может быть, — ответил мне мальчик, — потому что из земли только я один выполз, больше никто..."

"Извини", — прошептал я.

И я тут же увидел перед собой яму, заполненную живыми людьми, которых засыпают землей. Эта картина была такой страшной, что у меня просто язык не поворачивался спросить, как все это было.

Но мальчик как будто бы угадал мою мысль. Он сказал:

"Ты это скоро сам увидишь."

"Увижу?!" — воскликнул я.

"Ты совсем не так подумал, — сказал мальчик, — просто мы тут с Берединым готовим специальное представление на эту тему. Участвовать будут все, кто пожелает... Приходи и ты..."

И тогда я сразу же подумал о том, что если бы меня тоже убивали и я остался бы жить, то никогда не стал бы свою собственную смерть превращать в представление. Я даже задумываться не хотел, почему именно я так не поступил бы. Не стал бы и все!

И вот наступил тот день, когда Бередин стал собирать после уроков всех желающих посмотреть на немецкие зверства. Желающих оказалось очень много. Я тоже пришел...

Бередин повел нас в сторону полигона. Вскоре мы оказались на территории топливного склада. По насыпи, застланной углем, поднялись к железной дороге, пересекли ее и с криками посыпались вниз по крутому склону, поднимая облака пыли... И уже не останавливаясь, так и понеслись дальше, обгоняя друг друга.

"Скорей, скорей, — все настойчивее и громче кричал Бередин, — еще скорей!"

Тех, кто отставал, Бередин подгонял пинками.

"Ты чего это делаешь, чего..." — обижались на Бередина.

"Беги, беги, не оглядывайся", — говорил Бередин, держа

перед собой палку так, словно бы это была и не палка совсем, а короткий немецкий автомат.

Когда мы подбежали к неглубокому оврагу, на дне которого находилось пересохшее за лето русло ручья, Бередихин крикнул, чтобы все остановились. Я посмотрел на дно оврага, вспомнил, зачем мы сюда пришли, и мне стало тревожно. Вокруг все стихло и только слышны были команды, которые резким голосом выкрикивал Бередихин. Прежде всего Бередихин отобрал самых рослых ребят. Одних он послал на другую сторону оврага, других увел назад и затем шеренгой расположил перед нами. Те, на другой стороне, тоже стали шеренгой. Они широко расставили ноги и делали вид, будто целят в нас автоматами...

Мы с мальчиком остались у оврага и стояли рядом.

"А теперь все, предназначенные к расстрелу, — крикнул Бередихин, — но только без паники, предупреждаю, чтобы никакой паники не было, спо-кой-но начинают раздеваться..."

Раздеваться, конечно, никто не хотел, и потом было непонятно — как это... раздеваться? Мы топтались на месте в нерешительности и вскоре так получилось, что все мы стали смотреть на мальчика. Но мальчик тоже как будто бы не знал, надо ли нам раздеваться или нет. Он стоял, не шевелясь, низко опустив голову...

"Ну-у!" — крикнул Бередихин.

И тогда мальчик выпрямился и взмахнул руками. Потом он сделал такое движение, будто снимает с себя рубашку. На самом деле он до нее даже не дотронулся. Мальчик снял рубашку, аккуратно сложил ее и так же аккуратно положил у своих ног. Затем он расшнуровал один ботинок, второй, снял их и тоже аккуратно поставил рядом с рубашкой. А вокруг него мальчики уже резко срывали с себя рубашки и бросали их на землю, девочки стягивали через голову свои платица...

Одна девочка по фамилии Шувалова так похоже все с себя снимала, что Бередихин даже крикнул:

"Шувалова, не топчи ногами одежду, учти, что после тебя ее еще люди носить будут!"

Когда мы наконец разделись, та шеренга, которая стояла за спиной Бередихина, двинулась вперед, а мы медленно, один за другим, стали опускаться на дно оврага. Мы с мальчиком стояли в овраге рядом, держась за руки. Едва я оказался внизу, как у меня сразу же возникло такое чувство, будто меня и в самом деле собрались убивать. Комья сухой земли сыпались к моим ногам.

Я еще, наверное, никогда в жизни не рассматривал землю так подробно... каждый комочек в отдельности. Мне представилось, как эти комья один за другим будут подниматься к моим глазам, пока полностью не закроют их...

От одной этой мысли я почувствовал, что мне не хватает воздуха, нечем дышать. Тогда я рванулся в сторону, еще раз в сторону и, потащив за собою мальчика, бросился вон из оврага. А сверху уже несло: "Тэ-тэ-тэ... Па-па-па..."

"Ой, не надо, ой, страшно, ой, не убивайте", — кричала Шувалова.

Мы с мальчиком бежали долго. До тех пор, пока совсем не умолкли крики у нас за спиной. А когда остановились, то сразу же и упали в высокую сухую траву.

"Мы с тобою так бежали, — смеясь, сказал я, — будто бы за нами и на самом деле немцы гнались, правда?"

Мальчик ответил мне глухими рыданиями.

"Лева, Лева, что с тобой?" — закричал я.

И тогда мальчик стал биться в траве, как это делает подстреленная птица. Он откидывал назад голову, изгибался всем телом, отбрасывая от себя руки и собирал их на груди, хватал зубами траву...

Когда мальчик затих, уткнувшись лицом в землю, я сел рядом с ним и осторожно положил руку ему на плечо. Его плечо вздрагивало. Я сидел рядом с мальчиком и видел перед собой небо, покрытое от горизонта до горизонта облаками. Я думал о том, почему это в мире все так устроено, что люди всегда где-нибудь убивают друг друга. С тех пор, как мальчик появился в нашем классе, я этот вопрос задавал себе все чаще и чаще, но никак не мог правильно на него ответить. Теперь мне казалось, что я нашел наконец правильный ответ на этот вопрос. Видимо, просто на свете, думал я, появляются такие люди, которые словно бы для того и рождаются, чтобы убивать других людей...

Что касается меня самого, то о себе я совершенно твердо знал, что родился совсем для другой цели. Но для какой? Это мне пока было еще неизвестно...

Невдалеке вскрикнул паровоз. Мальчик встал и посмотрел мне прямо в лицо так, как никогда раньше не смотрел.

Он улыбнулся мне. И я сразу же улыбнулся ему в ответ...

Миша Гуц, высококостный, хорошо сложенный 18-летний бывший абитуриент, в высшее учебное заведение — университет — не поступил, а наоборот, вместо финно-угорских языков, сел за родительский обеденный стол и неожиданно, за один день, написал рассказ про революцию, про красный террор.

Чего, скажете, с горя не сделаешь, но рассказ был хороший. С тем настоящим заводом с первого слова, который в коротком произведении почти никогда не позволяет изменить ни вкусу, ни глазомеру, ни чувству... Словом, всему, из чего складывается это славное дело.

Все это случилось с ним действительно неожиданно в глубокий октябрьский день, после утреннего девятичасового сеанса в кинотеатре "Прогресс". Был спрессованный зябкий и скованный перебеж накатывающего шелковым свистом проспекта, как бы опасливая ленивая контратака под холодным дождем, суетливые движения в пустом кассовом зале с включенным электричеством, клетчато-шахматное фойе, достойное лучших слов и применения, и наконец, зал с несколькими прогуливающимися старшеклассниками, обнявшаяся пара в углу у колонны, пенсионные мужчины и женщины с потерявшими цвет любознательны-

*Марк Зайчик*

**"ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ"**

ми глазами, трое пьяненьких с утра или с вечера работают и Миша.

На огромном экране уже торжественно медленно пробежали снизу вверх титры, гремела величественная "революционная" симфония, наконец, пошло само кино. По Невской просторной набережной, очищенной от прохожих, за чернильной рябью дождя, в роскошном лаковом экипаже, похожем на коробку дорогого шоколада, Прекрасная Незнакомка в вуальке тыкает рукой, обтянутой до локтя перчаткой, в сторону кучерской лохматой спины и повелительно-капризным изумительным голосом торопит Прохора.

— Но-а, милая, поди, — громовым голосом говорит Прохор, и цокающий краковяк их прогулки растет, шапка кучера заломлена на затылок, посвистывает кнут, испуганно косит глазом нарядная ворона с алой лентой в смоляной гриве; налетает ветер с Невы.

— Ах, как хорошо, — с наслаждением высунув лицо навстречу влажному кислороду, говорит актриса Приходько с трижды заштрихованным — дождем, вуальной сеткой, конопроектором — но все равно прекрасным розовато-белым лицом современной девушки, выпускницы актерского факультета.

Вестибюль особняка молодого графа, с которым Прекрасная Незнакомка обручена. Белый мрамор перил, дорогой ковер, нагая безглазая статуя дамы с боками. Гвардейский офицер, на ходу натягивая перчатки, сбегает с лестницы. Лицо его напудрено. Он дивно хорош собой: строгий профиль, прозрачные юношеские глаза, непокорная прядь легчайших волос на лбу, мужские складки у носа, открытая загорелая шея.

— Моя дорогая, — говорит он, чуть задыхаясь и грассируя.

— Нам надо поговорить, — говорит она, хмурясь, отворачиваясь и закусывая губу.

Слышится ружейная стрельба на улице, нестройное пение разномастной подвыпившей толпы, музыкальный наскок казацкого взвода, злорадное зверское лицо унтера. Шумно взрывается самодельная бомба.

— Что это, Коля? — слабым голосом спрашивает Прекрасная Незнакомка.

— Что — что? Революция, вот что, — дергает ухоженным усом Коля и после некоторого раздумья увлекает Прекрасную Незнакомку в спальный альков кремового цвета. Со слабым стоном она гибкими полноватыми руками обвивает его мужественную шею,

их уста с наслаждением сливаются. Он ее споро и вместе с тем медленно раздевает. Показывают близко ее нежную согнутую ногу в чулке телесного цвета. Бесшумно падает с тумбочки на ковер тяжелая темная бутылка французского шампанского, за нею фужер.

Шум на улице, шумно взрывается еще одна самодельная бомба.

Вот примерно такое кино посмотрел Миша.

Змурясь на тусклый свет, опозоренно улыбаясь, вышел Миша из кинотеатра и побрел домой. Дождик помельчал, еще похолодало. С открытого пространства площади, страшно и уютно завывая, плотно гнал ветер.

Дома никого не было. Миша поставил чайник на огонь, сделал себе три толстых бутерброда с домашними пухлыми котлетами, горчицей, зеленым луком и соленым огурцом и в ожидании чая сел у кухонной батареи погреться, посмотреть в окно на облетающие с дворовых тополей последние листья, поулыбаться и подосадовать над фильмом.

— Нам даже могут предложить и покурить, ах, скажут, вы ведь долго не курили, — речитативом произнес Миша слова известной песни, поджег сигарету и затянулся, будто выпил после долгого перерыва, — да вы еще не начинали жить, ну, а потом предложат или...

Слуха и голоса у Миши не было совсем, может быть, поэтому он пел с таким громким удовольствием. Помимо слуха и голоса у Миши не было и здоровья.

— Центр должен быть сильным и быстрым, помимо всех прочих удивительных качеств, — сказал тренер Тучков, обращаясь к тринадцатому номеру — Мише, и Миша начал делать ускорения с отягощениями. Тридцать раз по тридцать метров с двадцатикилограммовым железным блином в руках. Эх, хорошо в морозный день на льду с железом!

— Хорошо, Миша, еще прибавь!

Через два занятия у Миши и еще двух парней изменилось давление крови, и хоккеем они заниматься перестали по требованию врачей. Тренера Тучкова перевели работать со взрослыми, зато Мишу теперь не взяли в армию с сохранением могучих кулаков, громоздкой поджарой фигуры и столбовидной шеи.

— Мелодийка там была славная, — вспоминает Миша, наливая чай. Всплывает мелодия, пробегают, смеясь, по изумрудной лесной поляне барышни в белых кружевных платьях и воздушных широких шляпах, прогуливается юнкер в мундире внакидку,

фуражка набекрень, цветок незабудки в зубах, небрежно гитара в ленивых руках. "Я ехала домой, я думала о вас..." — скрежещет по-волчьи зубами из кустов на все это полуденное довольство крестьянский сын. И явственно слыша голодное клацанье его здоровых зубов, различая за пятнистой жиденькой тенью кровельнолюбные складки вниз от углов его голодного плоского рта, Миша с кружкой чая в руках, сосредоточенно неся в себе ритм и слово, идет в комнату и садится за стол, за новенькую школьную тетрадь в косую линейку.

Получился спокойный тихий быт большой семьи, все эти милые Мишиному сердцу предметы и слова, привычки, события и ссоры.

— Не торопись, — просит Миша себя, — теперь улица.

И вот бульжная улица со смешанным сытным запахом молотого бразильского кофе и сдобных булочек из кондитерской Шнитке; обношенная солдатня шумной оборванной толпой у монополюшки, пожилой раздобревший городской — будущее кулацкое отродье, мягколицее и пшеноусое — отец Мишиного друга Коти Мазура; мальчик — газетчик в картузе, хитроглазый, бойкий, пугливый, как олень; солидный рабочий металлист Иван Спиридонович в синей поддевке, ласковый малопьющий Мишин сосед — будущий оперативник ЧК; тетка Ира, смуглая малороссийская красавица, материализованный эротический Мишин сон, и еще несколько его соседей и знакомых, описанных подробно, точно и не без изыска.

Что-то в нем освободилось, отпустило, и слова шли почти легко, почти механически.

— Вот занятие, наконец-то, вот она, дверь в сад, — изумленно подумал Миша в сигаретный перерыв, откидываясь на спинку стула, с наслаждением вдыхая свежий запах плодов и трав из открытой двери в сад, подставляя разгоряченное лицо прохладному животворному ветерку из сада и удовлетворенно разглядывая часто исписанные листы.

Как птица наследила.

Миша отчетливо и гордо почувствовал, как прошло в нем, или, точнее, проходило, то оцепенение, с которым он жил, учился, собирал значки, занимался хоккеем, три месяца болел в больнице, слушал и рассказывал.

Дальше Миша расписал, какое это молодое, веселое и азартное дело — революция, во всяком случае, до первой пули, до

первой крови. Его герой, мальчик из хорошей семьи, вместе с Иваном Спиридоновичем поступает в ЧК и идет с ним и еще тремя, пахнущими глинистым окопом, махрой, сапожной ваксой (от запаха этого герой содрогается), экспроприировать у знакомой ему семьи награбленное у народа богатство и уничтожить контрреволюционное гнездо.

Стуча сапогами, они поднимаются на второй этаж, на лестничной площадке солдаты ловко и бесшумно рассеиваются: один встает на колено и берет дверь на прицел, деловито сдвинув косматую папаху, остальные вжимаются в стены.

— Звони, — громко шепчет Иван Спиридонович.

— Кто там? — спрашивает испуганный голос за дверью.

— Свои, Александра Николаевна, откройте, — говорит юный герой.

— Слава Богу, Алешенька, а то я уж неизвестно что подумала, — справившись наконец с замком, отворяет дверь женщина.

Ближний солдат с лисьим лицом тут же просовывает ногу на порог, чтобы предотвратить эксцессы.

— Именем революции, Александра Николаевна, — с бьющимся сердцем говорит юный герой. И только детское Мишино “я верю, и потому я другой” позволяет ему это так написать и отстраниться от двойника, каковым бесспорно является, или являлся, его юный герой.

Миша поставил точку, посидел обессиленно (от слова кисель) еще, покурил, лелея и баюкая слабую мысль о праве, нравственности.., но убаюкал. В общем, он был слишком доволен. Счастливого найденная и выпущенная стрела попала в заветную цель, и теперь она уж будет лететь всегда.

Здесь выяснилось вдруг, что сумрачное утро незаметно перешло в распухший на дожде вечер, вернувший домой многочисленных Мишиных родственников, которые безуспешно и шумно пытаются организовать семейный обед.

— Пойду покажу Давулиани, пусть скажет, что я Гоголь, — решил Миша, собрал листы и пошел к Роме Давулиани.

Роман Ромазович Давулиани, русский прозаик и сосед Миши по дому, 25-ти лет, недавно закончил трехлетнюю службу в войсках МВД, где охранял обычных свободных людей и заодно себя тоже при помощи карабина, а иногда кулаков и собак немецкой породы, от уголовных рецидивистов.

Давулиани, человек пьющий и дисциплинированный, вечером

пьет, а без четверти шесть уже просыпается по будильнику, выпивает стакан бурого помидорного рассола на горном чесноке, диком луке, алтайском мелком перце, киндзе, смородинном листе и прочей рыночной зелени, обматывает голову мокрым полотенцем, и садится за пишущую машинку работать, и работает часов шесть.

Все же была у него искра Божья, и иногда по вечерам выводили в его гулкой комнате таинственную мелодию нездешние музы. Сейчас он допивал в компании поэта Пипко, пожилого поклонника Альберта и трех девушек, в которых, разумеется, знал толк, третью бутылку водки. Жена его жила с их общим ребенком отдельно.

Когда Миша вошел под очередной, оставшийся сзади во времени неузнанным тост, Роман, отморщившись натянутой щекой, тянул с тарелки лохматый лоскут кислой капусты, украшенный клюквенным рубином.

— Заграница — это место, где нет граненых стаканов, — объяснял поэт Пипко. У всех было приподнятое, очень хорошее настроение, и возбужденный Миша сразу решил, что попал куда надо.

— Это Миша, бывший спортсмен-профессионал, мы занимались с ним разными видами спорта в славном обществе "СКА", — сказал Роман.

— Как это странно слышать — бывший — про такого молодого, крепкого и привлекательного человека, — сказала лучшая и старшая из девушек лет двадцати двух.

— Какое у вас доброе, умное и красивое лицо, — сказал Миша.

— Познакомьтесь, друзья, это Ира, дипломированная актриса-кукловод, а это — Миша, человек без определенных занятий.

— Спасибо вам, Миша, садитесь рядом и не обращайтесь на него внимания, Рома сегодня острит, — кивнула ему Ира несовершенным профилем. Рома острил всегда, сколько себя помнил.

— Каким музам отдал себя Миша? — ревниво спросил поэт Пипко, небрежливо высвобождая граненый стакан из-под чужого ситро для Мишиной водки. Миша выпил так, как учил его полтора года назад сосед по палате Леонтий Петрович Крузенштерн-Суйко: "Взять стакан твердо и прямо, локоть на уровне плеча, нежадный и скромный выдох, приветливый взгляд, за генерала Врангеля, господа, — короткое слаженное движение кисти, горла и кадыка. И никогда не морщиться, молодой человек. Это дурной тон".

Так Миша и сделал, только тост не сказал и чуть прищурил по молодости глаза от отвращения.

— Что же привело тебя ко мне, друг мой Миша, только не говори, что это шумное застолье, — спросил Роман, пристально и странно глядя.

— Я хочу, чтобы ты отвел меня к Сандомирскому, — сказал Миша.

— А в чем, собственно, дело, — затревожился Пипко.

— Ни в чем, Миша хочет зачитать собственный текст и выяснить, что это такое, — пояснил Роман, — не студенческие ли упражнения.

Безымянные, но хорошие девушки, одетые, кажется, одинаково, замолчали. Миша кивнул. Ему нравилась эта повадка жреца и небожителя.

— Ради Бога, дорогой, завтра в восемнадцать ноль-ноль на выходе из метро Чернышевского возьму тебя.

— Скажите, Альберт, у вас тоже наутро после выпивки икры болят?

Альберт обрадованно закивал.

Весьма смутно помнил Миша назавтра, как все получилось с Ириной, как они уходили вместе, как в коридоре их нагнал Пипко.

— Ты лгунья, — прохрипел он. — Что все это значит?

— Оставь, Вова, — попросила она.

— Ты низкое существо, как все женщины, — яростно прошипел Пипко, боясь соседей.

— Возможно, ты прав, — сдержанно сказала Ира. Ее почему-то душил смех.

— А в чем, собственно, дело, — несколько спотыкаясь на гласных, запоздал Миша.

— Ну его к черту, он все время думал, что я в него влюблена, — объяснила Ира.

Она жила недалеко у Театральной площади. Рубль десять на такси. Родители отдыхали в Кисловодске, сестра училась стать художницей в Москве, в училище Строганова.

— Что, в Ленинграде уже негде учиться на художника? — обидчиво спросил Миша — патриот родного города.

— Да, ладно тебе, так вышло, — засмеялась Ира в темноте. — Иди сюда.

Она лежала под родительским ватным одеялом, гладкая, мягкая и послушная. Небесные призраки любви, натываясь на мебель, раскачивая кровать, шумно блуждали по комнате. Он проник

в нее и оставался с ней, пока не утолил ее страсть и свою. Она сказала ему, что любит его, он осторожно погладил ее лицо, и они заснули.

Прекрасно вот так проснуться поутру, веселым, опустошенным, с слегка вальсирующей головой и продолговатой женской рукой с сильными длинными пальцами в лунных белых полукружиях счастья у основания ногтей, забытой на твоей груди.

И даже вон там что-то светит за окном, и это что же, солнце? Можно сказать и так. Возможно, это просто отблеск дождя.

“Благодарю тебя, Царь Небесный, за то, что ты по благосердию своему возвратил мне утром душу и раскрыл глаза”.

Они легко расстались, попив утреннего чайку с сухками в прохладной от чистоты кухне. Ира застегнула ему пальто, и он отправился, унося зыбкую ниточку этой связи корявым телефонным номером на спичечном коробке с нарядной наклейкой “Берегите лес от пожара”.

Было очень рано. Дворник бесполезно сметал суровой метлой на длинной мокрой ручке дворовые лужи в решетку люка, гремящего потоком.

“Что-то есть сегодня еще”, — подумал Миша. Да, встреча с “поднебесной стаей” Сандомирского.

Дома никого уже не было, на столе лежала лаконичная записка от мамы: “Безобразие!”.

Миша поставил чайник на огонь, выкурил полупустую мятую сигарету “Опал”, поглядел в беспогодное окно. Что-то его тревожило. Он походил, попил чаю, еще покурил, возвратился в комнату и сел за стол. Еще раз пробежала в нем незатейливая мысль, что все это уже с ним было однажды. Роковая и неизбежная страсть к письму неожиданно поразила его. Именно страсть, потому что в том, как он обращался со словами, прибавлял и отнимал окончания и приставки, переворачивал их, гладил, сгребал их в горку и рассыпал, менял глаголы и местоимения, оттенял прилагательные, отодвигал деепричастия, подбирал синонимы, было что-то от увлекательной любовной запретной игры навсегда.

Со стороны, скажем, наблюдать за ним было бы невозможно по многим причинам.

В шесть часов вечера ровно Роман грузно шагнул с Чернышевского эскалатора, взял Мишу под руку, и они пошли по направлению к Неве.

Роста в РOME было сто девяносто шесть сантиметров, весил

он сто двенадцать килограмм, когда-то успешно занимался боксом. Часто попадал в опасные переделки, где его всегда били. Однажды безвестный военный моряк на Первое мая в честь праздника, так сказать, даже выбросил его в заднюю дверь троллейбуса, и Рома сломал берцовую кость, долго лежал в гипсе.

— Встретил сегодня на Невском Н. Н., — сказал Рома, — идет веселый. Как дела? Да вот, — говорит, — большая радость, получил деньги за перевод, двадцать семь рублей. Ребенку, говорит, пальто купим, жене туфли, долги раздадим. И все всерьез. Понимаешь, человек от отсутствия денег абсолютно перестал понимать их ценность. Я подумал: гениальный поэт так живет, а я тут прыгаю ради пятистраничной рецензии. Решил — начинаю жить по-новому.

— Лучше? — поинтересовался Миша.

— Еще лучше, — серьезно сказал Рома, — пришли.

“Поднебесная стая” собиралась в писательском особняке, в зале прозы, — гармоничной, богато убранной гостиной с невероятным потолком и густо-малиновыми портьерами снизу доверху во все четыре стены. За пасьянсным столиком сидел Сандомирский, скорее пожилой головастый человек в седой бороде.

— Здравствуйте, Рома, — кляцнул он вставными зубами о мундштук трубки и высвободил рукой несколько блеклых колец дыма, запутавшихся в его гриве.

— Вот Миша Гуц, гениальный молодой прозаик, мой сосед по адресу места проживания жительства, — на всю комнату представил Роман.

Сидело на узких диванчиках и стульях еще человек восемь, поулыбались, как это выяснилось, концу фразы, а не началу. Миша некоторое время чувствовал себя мальчиком-газетчиком из своего рассказа.

— Начнем, пожалуй, — сказал Сандомирский. — Вам слово, молодой человек Михаил.

Миша, погибая от внимания, кивнул, раскрыл листы, напряженно объявил: называется “Именем революции”.

И, не останавливаясь, без прерыва, начал читать, накладывая свой густой гибкий голос поверх облаков дыма, вплетая его в тяжелую золотую бахрому портьер, заполняя рисунком округлый потолок, незаметно опутывая и не отпуская слушавших.

Внятно шагнули в соседней комнате стенные часы с надраенным маятником, помеченным буквой омега, и Миша произнес:

— Конец. Вот.

Присутствующие дружно выдохнули, пошел перегляд, удивленно взлетели брови, Рома встал, шагнул огромной левой и, торжественно качнувшись, пожал Мише руку.

— Простите мне мое молчание, Михаил, — откашлявшись, сказал, наконец, Сандомирский. — Как ваше отчество?.. Михаил Аронович просто оцепенел от неожиданности... Это из-за того, что Иванов называл "сладким ядом прозы". Поздравляю вас, не так ли, господа? Давайте вы, Андрей.

Похожий на молодого дворянина костистым узким лицом, сдавленными висками и коротковолосой римской языческой прической, небрежно и уверенно сидевший, державшийся на людях в единственно возможной манере, Андрей сказал так:

— Радует полное отсутствие авторского честолюбия и вдохновенное, но тем не менее, вторичное отношение к слову. Видно, что кроме игры есть опасливый страх, и интерес, и смелость. Я вас приветствую, Миша.

Следующим был на очереди маленький широкогрудый, аккуратный, с неестественно развитыми кистями и лицом, не заслуживающим и слова.

— Опять этюды и прилагательные, орнамент и минарет, — засердился он. — Эта нерусская литературная традиция преступна сегодня, то есть, вульгарно говоря, сравнение и метафора вместо Бога превечного нашего.

— Позвольте, позвольте, Витя, — вмешался Сандомирский, — я расскажу некоторую историю. Как вы все знаете, в молодости я изучал математику, серьезно занимался. Так вот, был у нас некий профессор, который за вполне достойные ответы выстав-лял двойки. И когда у него спрашивали почему, он отвечал: за голос. Дайте мне ваш дневник, Витя, я поставлю вам двойку.

— Да берите, Алексей Федорович, ставьте, только ничего этим не решите, — обижался Витя.

— Беру, ставлю и решаю, — отдельно и решительно парировал Сандомирский, выписывая трубкой в тяжком воздухе некий тайный осуждающий знак.

— Ну хорошо, простите, э-э... Миша, — откликнулся Витя.

— Бог простит, — не простил Миша. Чего-то он ожидал не того от этого вечера. Красивых, благородных и верных друзей, как мечталось, не нашел, наставника жизни тоже.

"Все сам, и как сможете", — говорил, казалось, очковый взгляд Сандомирского.

“Как же так? А кто мне расскажет, как действует химчистка” — в свою очередь вопрошал Миша. “Разберетесь”, — уверенно кивал Сандомирский.

Но столь необходимой, отравленной медовухи похвал Миша напился сполна. Живот его оттопырился от лести, Рома-староста объявил десятиминутный перерыв. Раскрыли двери, все потянулось на лестницу, на сквознячок, на негромкий частный разговор.

Миша остался сидеть, наивно-самодовольно думая о горечи триумфа.

Алексей Федорович Сандомирский приценился преувеличенно цепким, так называемым писательским глазом и негромко сказал:

— Это вполне можно печатать, Миша, если хотите, конечно. Хотите?

— Да, очень, — воскликнул Миша, с горечью слушая свою щенячью готовность и пытаюсь все же в последний момент тормознуть, остепениться, сохраниться, — а где, Алексей Федорович?

— У меня есть хороший друг в молодежной газете, завтра можем к нему сходить. Я уверен в успехе.

— Вы ошибаетесь, Алексей Федорович, не тот дух в этом тексте, шансов нет, — вмешался Рома, оставшийся в комнате нахохлившимся, зябнувшим арбитром, артистически замотанным в шарф — он панически боялся простуды.

— Где вы увидели не тот дух? — разгневался Сандомирский.

— Не наш дух, Алексей Федорович, не наш. И они это увидят немедленно, — покачивал головой опытный советский печатник-проходец Роман Давулиани.

— Они это с руками оторвут, талантливое прославление. Да где это видано? Они же не дураки, в конце концов, — спрашивал, кажется, у самого себя отнюдь не наивный Сандомирский, но вот нашло. Бывает.

— Именно потому, что не дураки, и не пройдет, — подкручивал еще Давулиани, уже откровенно посмеиваясь. Недаром его фамилия так легко и просто преобразовывалась.

— Вот скажите, Витя, — обрадовался Сандомирский вернувшемуся с воздуха Виктору, — Парчук этот рассказ возьмет?

— Какой Парчук, Алексей Федорович, из молодежной?

— Да! Илья Анатольевич.

— Илья Анатольевич, может, и возьмет, а Парчук — нет, никогда, — мрачно буркнул Витя под общий смех.

Алексей Федорович Сандомирский прожил очень много странных лет. В общем, он прожил так, как хотел, как мечтал в отрочестве. С некоторыми оговорками, но в принципе не стыдно, почти не отступая под натиском превосходящего врага. Настольной любимой книгой его, советского писателя, была Библия. Читал он ее, как иные читают "Блокнот агитатора", Устав КПСС или "Мастера и Маргариту" — то есть запоем и всегда.

Алексей Федорович искренне гордился своей работой, к которой чувствовал призвание. К тому же он думал, что он совсем не плохой писатель, и если бы не неправильная власть... впрочем, власть была правильная, необходимая и естественная для этой страны, по его, Сандомирского убеждению, и пенять власти своей судьбой было бы слишком эгоистично. Наблюдательность и силу глаза Алексей Федорович честно считал главным признаком писательского таланта и пытался ее требовать от "стаи" — наблюдайте, друзья, наблюдайте.

Много лет назад его жена ушла от него к представительному "драматическому актеру с ромбовидным лбом и наглым волевым подбородком". И этот "наглый мужской подбородок" из письма к другу-утешителю навсегда остался местным достижением и предметом гордости и личной творческой силы.

В общем, он был очень добрый пожилой мужчина, аккуратной прокуренной внешности, и если смотреть на него подольше, хотелось плакать.

— Завтра в девять, коллега Миша, — сказал Сандомирский.

— Ни за что не соглашайтесь — унижитесь, — шепнул, проходя к своему столу и не глядя, Андрей.

— Хорошо, Алексей Федорович, — кивнул Миша. Отказать Сандомирскому было невозможно, Миша был слишком молод.

Рома Давулиани цокнул и сморщил красивое кавказское лицо свое в совершенно обезьянью гримасу.

Дальше читал краснолицый, полногрудый, похожий на диссертанта-астронома — тоже новичок. Его ругали, как могли. Девушка с выпачканной чернилами до локтя бледной рукой сказала, что это "плебейская проза для плебеев". Что было правдой, "но зачем же вслух"? — огорчился Миша.

Витя сказал, что слов на это жалко, их нет, и махнул рукой. Вообще просеминарский семинар этот в сердце революционного

Ленинграда себя изжил. Все давно выросли, отношения были сложные, никто никого слушать не хотел. Дело было обречено, и, действительно, через два с половиной месяца после Мишиного визита "творческое содружество молодых" распалось, как и все распадается в этой стране.

Алексей Федорович сказал, что Библия — великая книга, большая литература, в ней нет ни одного плохого бранного слова, и нам, литераторам, не к лицу...

Миша не понял, при чем здесь Библия, и дальше уже не слушал, вспоминая телефон Ирины. С третьего раза семерка и девятка поменялись местами, номер восстановился. Дежурный администратор союза — щедро одаренная природой в телесном смысле женщина, еще в соку — улыбнулась мальчику, как могла щедро (а могла!!!), и подтолкнула мягкой ладонью аппарат.

— Только не долго занимайте, а то меня уволят.

Ира ответила сразу, будто сидела у телефона.

— Ждала, а что?

И вот ночь с той обязательной призрачной тишиной, подчеркнутой затаившимся будильником, который обычно предвещает снежный буран, любовную страсть или что-либо, столь же значительное.

Миша вдруг выяснил, с трудом рассматривая ее склоненное к нему округлое светлое лицо с как бы перебитым плосковатым носом и внимательными продолговатыми светлыми же глазами, что это любимое прекрасное лицо той женщины, которая подолгу беседовала с ним по ночам по телефону в его снах, ласково, умно, обещающе. Во сне она работала в какой-то лаборатории, где ей не давали разговаривать, и они быстро договаривались о свидании вечером, у входа в Русский музей. "У меня в руках будет газета "Советская индустрия". Миша, сладко улыбаясь, продолжал спать, мечтая о ней, машинально снимал трубку и слышал с настоящим восторженным молодым счастьем ее ленинградский простудный голос:

— Это опять я, все ушли на обед и я звоню.

— Может быть, прочтешь вслух? — попросила Ира.

— Сейчас, — засмеялся Миша. Польщен он был необычайно.

Ира перелезла через него — совершенно отсутствовала у нее жесткость и острота коленей и локтей, — мимоходом поцеловав, и розоватым смуглым призраком, уверенно и босо ступая меж комнатной мебели, зажгла свет у окна.

— Снег идет, Мишенька.

— Я вчера вечером, когда шел к тебе, запах этот снежный учуял, вот, думаю, славно, только бы не растаял быстро, а тут, смотри, мороз.

Миша приподнялся на подушке, пригляделся к поданным листам и начал читать, как и давеча, теребя голосом строки, расклавывая гласными, преувеличивая значение союзов.

— Мне до тебя Пипко звонил, сообщил, что у тебя был триумф в "стае", — сообщила Ира.

— Откуда он знает, что там было?

— Он все знает, профессия такая. Остерегайся его, — сказала Ира, погладив его по голове, — я чувствую, ты будешь тем, кем хочешь.

— Сандомирский настаивает это печатать, — произнес Миша со смущенным смешком.

— Относись, милый, ко всему спокойнее.

Каждый из них пел свою самостоятельную песню.

— Да я спокоен, а все равно вот крутится и крутится это — а вдруг?! — сказал Миша.

— Я понимаю, — отозвалась девушка, — я бы хотела тебя видеть наблюдателем издалека этих славных дней, улиц и лиц, так сэкономишь себя. Кардинальные вопросы и сверхзадачи сегодня не для честного человека.

— Хочу именно сверхзадач, — петухом сказал Миша, убежденно и опрометчиво.

— Будем смотреть, — шутила Ира, оглаживая его волосы, затылок, шею тесной рукой.

В назначенный утренний час ровно Миша разглядел Сандомирского в редкой толпе на выходе из метро. Многочисленная кожа его старого лица стянулась и как бы сгладилась на морозе, он помолодел и выглядел много лучше, чем вчера.

— Пойдемте, мой друг Михаил, пешком, — сказал Сандомирский, и они пошли пешком.

На охваченном морозом тротуаре снега не было совсем, зато он пышно и раздельно-сухо лежал на низких карнизах, легко нависал с афишных тумб, частым пунктиром докрашивал впереди лежащий воздух. Миша попытался неудачно слепить снежок, собрал снег невесомым движением не одетой руки с верха девственно белой деревянной скамьи у входа в садик Пушкинского театра, который этим вечером, по строгому, намеренно скромно-

му объявлению, давал знаменитую пьесу "Оптимистическая трагедия".

Миша дыханием отогрел мокрые кисти — от них пресно, не вкусно, головокружительно пахло любимым запахом снега, отчетливо чувствуя прелесть и неповторимость мгновения... может быть, от "рыбьего жира" этого воздуха, четкого ленинградского пейзажа, может быть, от счастливого утреннего молодого ощущения, невероятной прущей силы — "я все могу", и от того, что казалось будто все вокруг это знают и понимают. Останавливать мгновение он не собирался, не желал по молодости и глупости, хотя мог бы попробовать хотя бы, сопляк. В этом состоянии у него был явный шанс в этом преуспеть.

— Вы, Миша, не волнуйтесь, пожалуйста, — торопливо выговорил Сандомирский, — эта, страна, конечно, без понятия добра, но есть еще у нас справедливость.

Казалось, он явно уговаривал себя.

— Я не волнуюсь, Алексей Федорович, я даже спокоен, — отозвался Миша, не умея и не желая огорчать Сандомирского вопросом об истине. Больница и семья добротой выучили его доброте и жалости. Выучка побеждала даже Мишин спортивный (бойцовский) дух и юный семитский гонор победителя споров.

В стеклянной витрине большого магазина на узкой набережной Фонтанки висел энергичный фотопортрет нового кандидата в команду хозяев. Его простое хищное лицо лихого человека, уверенный и неумолимый взгляд мелких жестких глаз напугали и как бы шатнули и старого, и молодого.

— Какой, однако! — не без судорожного леденящего восхищения оценил Миша.

— М-да, — каркнул Сандомирский, опасливо косясь на портрет, нащупывая прежний прогулочный шаг, — добро знали принять от Бога, неужели зла не снесем?

Миша был несогласен с ним совершенно и категорически, и хоть смолчал, но приостановился, гневаясь лицом.

— Да-да, и не смотрите на меня так, молодой человек, богоборство это мы вам, евреям, оставим, а все остальное наше.

— Все хочу, — подумал национальный гордец Миша, вдруг представил ситуацию и засмеялся.

— Я знаю о чем ваш смех. Россия — родина слонов, да? — не понял и обиделся старик.

— Совсем нет, Алексей Федорович, просто все уже давно определено и роздано. Что мы с вами будем делить?

— Совершенно правильно, молодой человек, хотя меня раздражает и огорчает ваша уверенность.

— Я знаю об этом серьезном недостатке и пытаюсь все время с ним бороться и его изжить, — серьезно сказал Миша.

Снег пошел как уже совершенно из новогодней сказки крутым сплошным потоком, похожим на сборы рекордного урожая хлопка в среднеазиатском колхозе из киножурнала "Новости дня". Снег уничтожил замечательную перспективу реки Фонтанки с мостом и сумрачными лживыми питерскими домами высокого роста.

Впустили их в храм печатного слова с трудом. Уносили куда-то паспорта, приносили паспорта, сверяли фотографии с оригиналами... Дело не двигалось. В конце концов, позвонили по внутреннему телефону Парчуку, он немедленно спустился, расцеловался с Сandomирским, и все поднялись наверх.

Парчук был как Парчук. С университетским значком, с хорошим надежным лицом сельского интеллигента во втором поколении, в очень дешевом галстуке, который вместе со значком завершал и губил образ. Власть и должность у него в редакции явно были, судя по тому, как он заказал чай субтильной секретарше в общей для трех комнат приемной. В комнате, куда он их завел, никого не было.

Парчук прикрыл форточку, сдвинул на столе бумаги, включил люминесцентную лампу под потолком, рассадил гостей, уселся сам, секретарша внесла чай с лимоном. Стаканы были в серебряных подстаканниках, как в поезде Ленинград—Киев. "Все будет хорошо", — решил Миша.

— Чем могу служить? — спросил Парчук.

— Привел тебе автора с текстом, люби его и жалуй, — торжественно сказал Сandomирский.

— Прекрасно, вы ведь знаете, Алексей Федорович, как я верю вашим рекомендациям. На два подвала потянет очерк?

— Рассказ. Пожалуй, потянет, — просиял победно Сandomирский. "Где наши друзья скептики?" — говорила, казалось, его пластмассовая улыбка.

"Не знаю, Алексей Федорович", — улыбкой же отвечал Миша, — "пьют, наверное".

"Фу, с утра, как им не стыдно в нашем гармоничном, совер-

шенном обществе так себя вести”, — рассуждал Сандомирский с той же улыбкой.

“Бывает всякое, срываются иногда люди от огорчения и неправоты”, — успокаивал Миша.

Парчук терпеливо переживал диалог.

— Отпечатано?

— Вот нет, позвольте ему за честь, Илья Анатольевич.

— Что делать, — сморщился Парчук, — я только с вашего разрешения, друзья, приглашу одну даму, у нее глаз.

— Ухо? — переспросил Сандомирский.

— И глаз, и ухо, — пояснил Парчук.

Миша покашлял, вытер платком слезы.

У дамы, кроме глаза и уха, было много всего, и все было прекрасно. Ее спокойно и победно можно было показывать на рекламе “советское — значит отличное”. Несколько слишком откровенное лицо отнюдь ничего не портило, а наоборот вместе с университетским значком на удивительной груди, с туго затянутыми назад волосами и прочными частями замечательного тела, заставляло думать только о любви и только о ней.

— Тина, это наши авторы, познакомься, пожалуйста, — сказал Парчук, и она улыбнулась гостям влажной улыбкой жрицы из “Весны священной”:

— Здравствуйте, товарищи.

Тина легко и весело уселась возле Миши, поправив платье на коленях. Ее тяжелые чресла не давали ему сосредоточиться, точнее, сосредотачивали его только на себе.

— Именем революции, — с трудом произнес он.

— Очерк, Тина Сергеевна, — удовлетворенно улыбнулся Парчук.

— Рассказ, — поправил Миша.

— Ничего, будет очерк, — пообещала Тина.

— Рассказ, — строго сказал Сандомирский.

— Потом разберемся, — широким решительным жестом руки пригласил Парчук.

Чтение Мишино в этот раз не годилось. Его раздражало лицо Парчука, ему мешали тинины лебяжьи колени, не оставляло его чувство, что он не в том обществе рассказывает слишком частную подробность своей жизни: вот эти пятничные зажженные свечи в родительском доме в серебряных добротных подсвечниках досоветской работы на жестко хрустящей крахмалом синюшной скатерти, напряженное благословение отца и страстно-покорные

интонации на страстно-покорном языке вызвали бы на лицах этих людей если не улыбку, то презрительную гримасу отвращения. И хотя в рассказе об этом ни слова не было, но вот все равно проступало. Да и вообще им ничего знать было не надо, с такими лицами, вредно и неинтересно. Ни про запои Ивана Спиридоновича, ни про любовников тетки Иры, вообще ни про кого и ни про что.

Фразы комкались, прилагательные опускались, все пошло прахом. Почти победно Миша поставил голосом заключительную точку. Он начал, наконец, понимать кое-что.

— Вполне, по-моему, как вы, Тина Сергеевна! — сразу сказал Парчук.

Сандомирский смотрел в пол.

— Идеологически чуждое произведение, — определила Тина веско.

Парчук опешил, лицо его распалось, непонятно чем скрепленное раньше — возможно, родителями.

— Ну, вы перебарщиваете, голубушка, это свежо... — начал он болезненно.

— Есть твердые директивы — оживилась Тина. Краска возбуждения была ей к лицу, как, впрочем, и все, что она говорила и делала. Хотелось ей все время угодить. "Как умно и убедительно вы говорите", — чуть не произнес Миша искренне. Постеснялся. Дальше он, опять же мысленно, спросил у нее:

— О чем вы думаете в постели, Тина, и вне ее?

— Я думаю все время о физической любви с мужчинами и только о ней, — ответили выразительные и красивые глаза женщины.

— И сейчас тоже?

— Я же сказала, всегда, — раздраженно ответила Тина.

Миша успокоился. Все это время перегляда она убедительно говорила, ссылаясь на Энгельса и Белинского, и ответить ей ни Сандомирский, ни Парчук никакой возможности не имели.

— Дух не наш, но автор не бесталанен, с ним можно и нужно работать, доводить, так сказать, до понимания и осознания. Вы согласны, автор?

— Конечно, Тина Сергеевна, охотно приму вас в учителя и наставницы, — засмеялся Миша.

Сандомирский сдался, Парчук сдался давно, а Миша и не спорил — он был с ней заранее согласен.

*Марк Зайчик родился в 1947 г. в Ленинграде. С 1973 г. живет в Иерусалиме.*

## ПОМИНКИ ПО ЖИВЫМ

### 1

Рассказать бы простым языком  
о голом комке протоплазмы,  
что под галстуком и пиджаком  
бьется из—, невылазный...

Да, и маменькин гогочка, и  
злой зверек, и амеба  
тычется в закоулки свои  
в жажде, в общем-то праведной, млека и меда.

Больно — значит, живешь. Больно жить.  
Иногда — интересно.  
И зарубкам излюбленным (чем же еще дорожить?)  
за года не стереться.

Тут и случай: "До встречи Нигде".  
Почему-то припомнилось Волково Поле,  
почему-то перо — в (никогда не растил) бороде,  
и — не станем додумывать боле...

И — никак, никуда, никогда:  
перекресток вот эдаких, лучших  
в переперченной жизни, — и как ни хотелось бы — да, —  
нет, не выйдет, голубчик.

Не того ли же солнца припек  
и не те ли же зги вечерами?  
А, как вышло-то вовсе не так, поперек:  
не страну, а себя потеряли.

И с пробоиной в ребрах, и черпая черта бортом,  
держим курс на какой-то Канопус.  
А, забить нам на то, что там станется с нами потом, —  
раскрутили мы все-таки глобус.

2

Ах, ты песня, песня русская,  
выручай от заморской тоски, —  
словно лезвие узкое, узкое  
разрезает комок на куски.

Почему, для чего и откуда я?  
И — куда? Подо мной — океан.  
Что-то где-то, должно быть, напутано:  
как допить непомерный стакан?

Я ведь русский, брательники, русский я!  
И куда же меня занесло?  
Карта Мира вселенская, хрусткая  
нулевое мне кажет число.

Где-то поле и поскоки конские,  
городецкий раскол калабах.  
И в размор на припеке, на солнце  
холодок пропотевших рубях.

Повернулась Европа на палочке  
и пропела в воздушной тени.  
Ах, Семен Ерофеич, с Пал Палычем  
чокнись, друг, и меня помяни.

Ой, ты песня, песня русская,  
выручай от заморской тоски, —  
словно лезвие узкое, узкое  
разрезает комок на куски.

*Над Атлантикой, 3 июня 1983 г.*

## СОВРЕМЕННАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

*Открывающее предлагаемую подборку стихотворение А. Райха, в сущности, обращено к еврейскому народу ("О ты, что преисполнена излишеств..." — это перефраз библейского "Пресыщенная женщина, скажи...", где "пресыщенная женщина" — одно из прозвищ еврейского народа) и прорицает ему грядущий апокалипсис. Замыкающее стихотворение Э. Гирша диалектически связано и внутренне противоречит мысли А. Райха (смертельное падение — рождение). Но это обрамление, а суть и сердцевина цикла — пестрый ряд явлений, наблюдений, чувствований, противопоставленных нервической декларации А. Райха и отражающих довольно широкий и пестрый спектр современной израильской поэзии.*

В. К.

Ашер Райх

### УЖЕ ДАВНО

Паденье продолжается давно.  
Не как надежное укрытие или  
Уловка хитрая, вслед за которой —  
Внезапный взлет на крыльях тьмы, неслышно, —  
Нет, просто безысходное паденье.  
Но здесь не высоко.  
Немыслимая, масляная мгла  
Спокон веков жрет очистительную жертву.  
Я говорю: паденье продолжается давно.

О ты, что преисполнена излишеств,  
Как долго сможешь падать, не достигая дна,  
Жить между апельсинами огня  
И вымогательством спастись,  
Никчемно перебирать ногами,  
Подобье утешенья в этом находя?  
В какое-то мгновенье кажется,  
Что прыгаешь в поток.  
Но нету здесь потока.

А то, что видится тебе бездонней всех глубин, —  
Запроданная вотчина твоя,  
Чьи силы все скудеют.  
Уж слишком мрачную ты выбрала стезю,  
Всецело полагаясь указаньям.

Вот улица. Надежней места нет  
Укрыться от самой себя.  
В чем сущность одиночества? —  
Что даже ночью снится:  
Проходишь, как всегда, лицо переменив,  
Как будто на свидание спешишь к любимому.  
Но нет любимого. И не бывало.  
Я повторяю: паденье продолжается давно.  
Ночная красота — да что там красота! —  
И ночь сама тебе непостижима.  
Не говоря о жизни. Как летучей мыши.  
Ведь вынуждают тебя плясать  
Лишь крылья слепоты да звезды памяти.  
Но ты беспамятна.

Как надпись на стене,  
Восходы освещают твой лоб.  
Днем солнце жжет соблазном.  
Великой тьмы для поцелуя разверста пасть.  
Ты в ней уже почти исчезла.  
И все, что предстоит, —  
Растоптанное вдребезги паденье  
Сквозь день за днем сгущающийся мрак.

*Ариена Герен-Акозн*

## ПОНЫНЕ

Когда набираю номер,  
и отвечаешь ты, —  
сердце вскипает,  
как в тот раз, самый первый,

когда я спросила: "кто это?",  
а ты отозвался: "я".

*Одэд Пелед*

### УЖЕ АПОКАЛИПСИС

Стаканом кофе завтрак запиваешь,  
Газету на столе раскладываешь с хрустом,  
Как новенькую карту всех сует.  
Меж тем, пока глаза Ее спешат вдоль тесных строк,  
Плетешься в ванную. Бросаешь взгляд  
На утомленное, заросшее лицо.  
Вдруг,  
        третий глаз,  
                        как пасть,  
                                        посередине лба.

И ты лишь улыбнешься и промолвишь:  
Да не оставит вас вовек Господь.  
Бегите войн, политики, богатства.  
Вас лес усыновит, и капельки росы, и ветер.  
Опаловые перстни надевайте.  
Ведь с вами Бог. Он по утрам  
Охапку хризантем кладет на ваш порог.

### СОНАТА БЕШЕНОГО ДОЖДЯ № 14

Дождик, дождик, пуще,  
Дам тебе гущи...  
А птица-мать — такая странная —  
Простирает крыло перебитое  
Согреть идущих по дороге в Бельзен.

О, сколько счастья она дарит обессиленным!  
Им так тепло и хорошо — несущим  
Давида желтый крест —  
На перепутье по дороге в Бельзен,

Где вывески неоновые однозначно:  
"Усеянная рыбьими костями".

Ведь это с той поры:  
Дождик, дождик, пуще,  
Дам тебе гущи...  
А некий маляр  
Усатый  
По дороге, ведущей в Бельзен,  
Белит деревьям кроны  
Одну за другой.

*Дан Армон*

Простая комната, вино,  
И Меир Визельтир, рисующий зеленого человека.  
Тот стоит подле зеленого ствола,  
Выпроставшего зеленую ветвь,  
Выпустившую зеленый лист,  
Укрывающий зеленого человека, —  
И все это в зеленом воздухе.

Он говорил о поэте,  
Осторожно ступающем по натянутому канату,  
И о другом поэте,  
Тот же путь проделывающем вприпрыжку.  
И эти правильные мысли  
Морщили его лоб и нос.

Мне так хотелось приблизиться к картине —  
Да не вышло.

## ОСЕНЬ

Склонились деревья —  
Войти  
Под низкой притолокой в зиму,  
Чье тонкое, студеное дыханье  
Льет свет на наше теплое жилье.

И пальцы  
Невольно переплетаются —  
Согреться.

*Мордехай Гапили*

#### **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ**

Важнейшую из всех работ  
Проделал кран,  
Поднявший мраморные плиты  
В каменоломне  
На грузовик,  
Затем — к рабочим,  
Которые трудились на лесах.

Спиральями облезла краска,  
По обе стороны доски “Национальный банк”  
Поставили держатели для флагов,  
Пространство, превращенное в ряды отделов,  
Пришлось бы в самый раз под склад для овощей  
Или аквариум для тех, что в рот воды набрали.  
Во всяком случае, сюда придут немногие —  
И только для того,  
Чтоб выяснить какой-нибудь вопрос.

*Аяла Осэм*

Сей лес не мне принадлежит.  
Паленые тона не тронули его зеленых игл,  
Две белки, как в немой кинокартине,  
Усевшись в сердцевине тишины —  
Как будто нет войны, —  
Грызут проворно в сумраке сосны,  
И легкий, светлый дождь семян струится вниз.  
Вот птица вскрикнула:  
Наверно видит сны,

Не то от сытости.

Солдат гражданской обороны,  
Оле хадаш ми-Русия,  
У входа в кинотеатр  
Взволнованно беседует с электриком,  
Из европейских, хотя родился здесь.  
Солдат расхваливает Сталина  
За тактику, которую Йосиф  
Использовал, чтоб трахнуть немцев,  
Позволив им сперва дойти до Ленинграда.  
"И тут-то Сталин им всадил по горло", —  
Рассказывает жид. "А жаль", —  
Ответствовал электрик, —  
"Что немцы их не трахнули тогда".  
Солдат гражданской обороны  
Он здесь чуть больше года  
С ивритом не в ладах, но очень хочет,  
Чтоб до электрика дошло, и повторяет:  
"Твоя не понимает. Он —  
Сталин —  
Немцу дал дойти до Ленинграда  
И — долбанул". Однако же электрик  
Уперся на своем и не на шутку раздосадован,  
Что этот парень из гражданской обороны  
Поряdochный осел. А тот все продолжает объяснять  
Себя и Сталина.  
Тогда электрик ему сказал:  
"Не понимаешь ты. Ведь если б немцы  
Их трахнули тогда, не ведали бы мы  
Всех этих бед от террористов".  
И сдался русский эмигрант.  
Он ровным счетом ничего не понял.  
Теперь-то он в гражданской обороне,  
А вот тогда и вправду был боец.

## РОЖДЕНИЕ

Груды земли и репья, веток сухих, серая яма,  
Эвкалипт зеленеет на поле.

Из черных руин средь зарослей трав и кустов  
Эвкалипт в огне и в дыму.

Меж деревьев тускнеющий свет и темнеет земля,  
Облака золотятся на небе закатном.  
В тени эвкалипта — голая женщина.

*Перевел с иврита  
Валерий Кукуй*

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НОВАЯ КНИГА

МАЙЯ КАГАНСКАЯ И ЭЗЕВ БАР-СЕЛЛА

"МАСТЕР ГАМБС И МАРГАРИТА"

168 стр.

10 долл.

Со сказочным остроумием авторы показывают, что романы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" получили бессмертие из рук Воланда и что загробная жизнь — это миф о загранице. Попутно срываются все и всяческие маски с Бегемота, Иоканана Марусидзе и "Театра-Варьете"; выясняется, что Андрей Белый лил воду на чертову мельницу, почему Маргариту зовут Маргарита, а Зосю Синицкую — Зося Синицкая, роковая роль, которую сыграли Ницше, Мейерхольд и князь Мышкин в судьбе Мастера, а также почему от слова "Мастер" у Сталина случилась истерика.

Книга "Мастер Гамбс и Маргарита", посвященная тайной связи Булгакова с Ильфом и Петровым, открывает жанр, неслыханный расцвет которого приходится на первую декаду XXI века — жанр научно-фантастического литературоведения.

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу:

"Moscow-Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ С ПОСВЯЩЕНИЯМИ

1

*О. К.*

Отечество в дыму —  
так сладок этот дым,  
но у речной звезды  
рождественского торта,  
что горьким миндалем  
и редькою разит  
— я руки подыму —  
печален реквизит  
любви второго сорта  
— под вечер моросит —  
и близко до беды.

Я руки подыму —  
и дым над головой.  
Не отвести беды,  
что поднялась над садом.  
Да только что мне дым —  
я сам пять лет в дыму,  
пять лет как не живой,  
пять лет уже не рядом.

*Июль 1983*

II

*Е.К.*

*... на Кацивельевском причале...*

Если плечи твои пиджаком не спасать мне кургузым,  
если нечем в любви объясниться —  
словарь опустел —  
значит, лету не быть:  
никому не известные друзья

(кто их видел!)  
тепло отобравши, восвояси отправились с тем.

Видишь, друз нелюбезный, я толкую про женские плечи,  
о прощаньях в саду, а на самом-то деле про сад!  
И когда на холмы тьмой египетской рушится вечер,  
столь внезапно и страшно,  
как будто  
я один среди всех виноват.

Оттого и не жаль.  
Потому и не надо печали.  
И губительны сумерки — не на что сумрак беречь.  
На немыслимом здесь,  
на почти что не бывшем причале,  
чтобы выжить и только, —  
оставлены голос и речь.

*Июнь 1983*

### III

*М. Г.,*

Поскольку дождь в ночи,  
мне не разжечь костра,  
а потому впотьмах  
блуждать и слышать пенье  
какой-то твари, что  
заводит со вчера  
мучительный пассаж  
в любовном оступенье.

И, обратившись вдруг  
к избитой теме зла  
(а тут еще костер  
и мерзнешь обреченно),  
я только и смогу  
воскликнуть: все дела

столь далеки  
а ночь — чернее ночи черной.

.....

Но не беда, когда  
воспоминанья бес  
все норовит в окно  
не требуя ответа.  
И если это так —  
оставим ночь и лес.  
На что, скажи, костер —  
куда как много света.

*Апрель 1983*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**  
**НОВАЯ КНИГА**  
**АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ.**  
**ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ**  
(юмористические рассказы и повести)

240 стр

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журналь де Женев". "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зощенко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе: "Мы — это Зощенко, Бабель, два Вуди Аллена, братья Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые".

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Потому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

**Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow-Jerusalem" P.O.B 7045, Ramat-Gan, Israel**

Отмененные гастролы

I

25 июня 1989 года. Корреспондент агентства ТАНЮГ передает из Тотоко, столицы Берега Берцовой Кости. Вчера ночью группа террористов проникла в жилой корпус советского посольства и захватила в качестве заложников находящуюся здесь с дружеским визитом партийно-правительственную делегацию Советского Союза. В руках террористов оказались: Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, Председатель КГБ.

Ответственность за захват заложников взяла на себя организация "Народный фронт национального освобождения", ведущая вооруженную борьбу с правящим режимом Берега Берцовой Кости. Террористы требуют от местных властей освобождения из тюрем ста своих единомышленников, а от советского правительства — выкуп в размере миллиарда долларов.

*Леонид Ицелев*

**ОБЗОР ПЕЧАТИ**

или опыт документальной  
фантастики  
(рассказ)

\* \* \*

Тотоко, 26 июня, ТАНЮГ.  
Правительство Берега Берцовой

Кости, встревоженное возможным ухудшением отношений с Советским Союзом, согласилось на часть требований террористов и освободило из тюрем сто членов организации "Народный фронт национального освобождения".

\* \* \*

Тотоко, 27 июня, ТАНЮГ. Террористы продолжают требовать от Советского Союза выкуп в размере миллиарда долларов в обмен на освобождение советской партийно-правительственной делегации. До сих пор из Москвы не поступало ответа на требования террористов.

\* \* \*

Тотоко, 28 июня. ТАНЮГ. Террористы, захватившие советских руководителей заявили, что если до 1 июля они не получат миллиард долларов, все заложники будут убиты. Москва по-прежнему хранит молчание.

\* \* \*

#### **Заявление ТАСС**

В последнее время буржуазные органы печати организовали шумную провокационную кампанию по поводу якобы имевшего место похищения советских руководителей в одной из дружественных африканских стран. В связи с этим ТАСС уполномочен заявить, что эти лживые измышления преследуют только одну цель — омрачить вековую нерушимую дружбу между народами Советского Союза и свободолюбивым народом Африки. Ответственность за раздутую шумиху всецело лежит на империалистических кругах некоторых западных стран.

*Москва, 1 июля 1989 года*

\* \* \*

Тотоко, 1 июля, ТАНЮГ. Вчера в здании советского посольства завязалась ожесточенная перестрелка между представителями враждующих группировок "Народный фронт национального ос-

вобождения" и "Национальный фронт народного освобождения". В результате столкновения советские заложники перешли в руки террористической организации "Национальный фронт народного освобождения". Террористы требуют от правительства...

\* \* \*

Тотоко, 6 июля, ТАНЮГ. В тот момент, когда советские руководители перешли в руки третьей по счету группировки террористов, именующей себя "Фронт национального освобождения народа", мир облетела весть о том, что в Советском Союзе произошла революция. Советские руководители, превратившиеся теперь в правительство в изгнании, были выпущены на свободу. Предполагается, что они получают политическое убежище в США.

II

*Его прерохабие капитал*

#### **новая звезда буржуазного искусства**

Страницы падкой до сенсаций буржуазной прессы пестрят фотографиями новой звезды буржуазного искусства — Даны Саншайн. Ее фотографии и интервью публикуют не только откровенно бульварные листки, но даже издания, претендующие на титул солидных. Крупнейшие издатели вырывают друг у друга право на публикацию ее порнографических откровений, транснациональные корпорации добиваются ее согласия сниматься для рекламы их продукции. В сопровождении очередного партнера ее нередко можно видеть на приемах в Белом доме.

Так кто же эта "звезда"? И в какой области искусства она подвизается? Увы, жанр этой "артистки" назвать трудно. Не только потому, что он так "оригинален", но и потому, что само обозначение этого "жанра" является непристойным. Чтобы не вдаваться в подробности и не уподобляться буржуазной прессе, без конца смакующей эти подробности, скажем лишь, что для услады толстосумов с Уолл-Стрит Дана Саншайн исполняет непристойные песни, одновременно участвуя на глазах у зрителей в извращенном половом акте. При этом репертуар этой горе-артистки не отличается разнообразием и состоит только из одной песни, а точнее

порнографических куплетов "Make Love To Me More Often". ("Люби меня чаще"). Благодаря этим оргиям она завоевала себе бешеную популярность среди соответствующей публики, состоящей из заправил Уолл-Стрит и их сынков.

Дана Саншайн, дочь нью-йоркского торговца, который сколотил себе состояние на обмане собственных черных собратьев, далеко превзошла своего отца в деле циничной наживы. Даже выдавшие виды местные журналисты недоуменно пожимают плечами: такого пресловутая массовая культура еще не знала. Торгуя своими самыми интимными чувствами и местами, Дана Саншайн с завидной деловитостью распоряжается нажитым капиталом, вкладывая его в игорные предприятия и публичные дома. Жилые дома она тоже любит приобретать. В ее коллекции недвижимости — несколько замков в Западной Германии и Шотландии, вилла на Багамских островах, целый остров в Карибском море и даже собственный небоскреб в богатом предместье Сан-Франциско — Пало-Альто, где она и предпочитает жить.

*"Советская культура" 27 февраля 1988 г.*

\* \* \*

Вашему корреспонденту удалось взять интервью у несравненной Даны Саншайн, популярнейшей исполнительницы песен в стиле cunt-ry music.

ДЕЙЛИ МИРРОР: Правда ли, что во время своих выступлений вы довели более двадцати зрителей до оргазма?

ДАНА: Не совсем. На моих концертах было тридцать два оргазма.

ДЕЙЛИ МИРРОР: Каковы ваши творческие планы?

ДАНА: Я бы хотела добиться 40—50 оргазмов до конца этого года. Думаю, моя новая манера исполнения в этом мне поможет. В Париже буду выступать в сопровождении женского вокального квартета No Man's Love. ("Любовь без мужчин"). В процессе пения мы будем заниматься лесбийской любовью.

*"Дейли Миррор" 9 января 1988 г.*

\* \* \*

В связи с предстоящими выступлениями Даны Саншайн в парижском зале "Олимпия", корреспонденты задали ей вопрос о твор-

ческих планах. "Тысяча оргазмов за вечер", — ответила супер-звезда.

*"Геральд Трибюн" 23 февраля 1988 г.*

\* \* \*

Доведенные до оргазма тысячи зрителей парижского зала "Олимпия" не заметили, как обезумевшая Дана Саншайн была прямо со сцены увезена "скорой помощью" в психиатрическую больницу.

*"Фрауэн Блатт" 8 марта 1988 г.*

\* \* \*

Когда Дана Саншайн выходила из ворот частной психиатрической клиники, где она провела целый год, один из журналистов спросил ее о творческих планах. "Я мечтаю о роли Офелии", — ответила Дана.

*"Дейли Мейл" 8 марта 1989 г.*

\* \* \*

#### *Портреты зарубежных мастеров искусств*

**Выдающаяся негритянская певица Дана Саншайн: я мечтаю побывать в стране победившего социализма**

Прогрессивной общественности США хорошо знакомо имя выдающейся негритянской певицы, борца за мир Даны Саншайн.

Безрадостным было детство маленькой Даны — тихой черноглазой девочки из Гарлема. Она выросла в бедной трудовой семье. Ее отец был рабочим, мать прачкой. От зари до зари родители трудились, чтобы прокормить семью, но денег не хватало даже на самое необходимое.

С малых лет познав социальную несправедливость, юная Дана стала активным участником прогрессивного молодежного движения. Эта хрупкая девушка из Гарлема обладала оружием, против которого были бессильны дубинки полицейских и винтовки национальных гвардейцев. Ее оружием была песня. Нет, это были не песни протеста, а лишь бесхитростные песни о любви. Но в мире доллара и чистогана, где все покупается и продается, песни

юной девушки о первой девичьей любви были разящим оружием. Что только ни делали заправила Уолл-Стрит, чтобы заставить замолчать гарлемского соловья. Но все было бесполезно: ее голос креп, а слава среди простых людей ширилась.

Надо сказать, что с годами креп не только голос негритянской певицы, но и ее прогрессивное мировоззрение. Не случайно в беседе с вашим корреспондентом Дана сказала, что главным событием своей творческой деятельности она считает вступление в коммунистическую партию США. Дана не только активно работает в отделе пропаганды и агитации ЦК, но и оказывает весьма существенную материальную помощь родной партии, жертвуя на дело мира и демократии собственные сбережения.

Мы беседуем с Даной в ее скромном уютном доме в рабочем поселке Пало-Альто, недалеко от Сан-Франциско. В ее кабинете простая деловая обстановка. Много книг. Среди них переведенные на английский полные собрания сочинений Шолохова, Кочетова, Кожевникова. На письменном столе — бережно одетый в кожаный футляр раскрытый томик стихов Александра Прокофьева.

— Я прочитала почти все переведенные на английский язык книги советских писателей, — говорит Дана. — Сейчас учу русский, — смущенно добавляет она. — Хочу читать в подлиннике Станиславского, чтобы изучить его теорию, а возможно и овладеть ею практически.

Корреспондент: Каковы ваши творческие планы? В Нью-Йорке представитель Госконцерта сказал мне, что скоро начнутся ваши гастролы в Советском Союзе. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее.

Дана: Мечтаю сыграть Машеньку в одноименной пьесе Афиногенова. Да, я с большим волнением готовлюсь к гастролям в стране победившего социализма. Мои выступления начнутся 4 июля в Ленинграде, на исторической Дворцовой площади. 5 июля я буду выступать в Москве на Красной площади, 6 июля в Киеве на площади Революции.

Корреспондент: Чем объяснить такой своеобразный выбор сценических площадок?

Дана: Эти гастролы организованы Госконцертом совместно с Обществом американо-советской дружбы и Всемирным Советом Мира. Моя поездка носит тематическое название "Пою я славу

городам-героям!" О моих выступлениях съемочная группа киностудии "Метро-Голдвин-Мейер" будет снимать фильм.

Корреспондент: Что вы будете исполнять?

Дана: Во всех трех городах я буду исполнять только одну песню: "Make Love To Me More Often" (Приходи ко мне почаще на свидания. — Прим. ред.)

В заключение нашей беседы Дана дарит нам свою фотографию с надписью: "Дорогим читателям "Советской Культуры", до скорой встречи в СССР!"

*"Советская культура", 20 мая 1989 г.*

### III

Москва, 2 июля 1989 г., ЮПИ. Источники, близкие к правительственным кругам, сообщают, что с момента похищения в Тотоко советских руководителей оставшиеся в Москве члены Политбюро и секретари ЦК ведут секретные заседания, длящиеся вот уже семь суток без перерыва. По сообщениям тех же источников, на этих заседаниях происходит перераспределение высших партийных и правительственных должностей. По мнению обозревателей, возможными претендентами на пост Генерального секретаря ЦК КПСС являются: первый секретарь ЦК Украины и первый секретарь Ленинградского обкома.

\* \* \*

Советский атташе по вопросам культуры в Вашингтоне сообщил представителю компании "Метро-Голдвин-Мейер", что по техническим причинам гастроли исполнительницы песен в стиле cunt-ry music Даны Саншайн в Советском Союзе отменяются. В советских газетах об отмене гастролей не сообщалось.

*"Нью-Йорк Таймс" 2 июля 1989 г.*

\* \* \*

### Как это было...

Вечером 4 июля сотни тысяч молодых жителей Ленинграда, а также гостей из Прибалтики и Карелии направлялись к Дворцовой площади. Однако вместо "несравненной" Даны Саншайн

юные любители рок'н'ролла увидели здесь только несколько десятков милиционеров, призывающих молодежь через свои walkie-talkies (по-русски matyukalniks) разойтись по домам. "Но ведь в "Советской культуре" было написано..." — взывала недоуменная молодежь. "Ничего не знаем, — отвечали милиционеры. — Обращайтесь в газету, здесь собираться не положено".

К восьми вечера вся площадь запружена народом. Разъяснения милиционеров становятся все менее сдержанными, реакция толпы тоже. "Даешь Дану!" — скандирует возбужденная толпа.

Когда на Дворцовую площадь опустилась прозрачная белая ночь, по толпе поползли слухи:

— Говорят, Дана дает закрытый концерт в Смольном. После концерта всем зрителям будут раздавать джинсы.

— Нет! Ее сейчас записывают по радио...

— Ее снимают на телевидении...

С Дворцовой площади толпа устремилась в трех направлениях — к Смольному, на радио, к телецентру.

На утро весь город был в руках восставших.

На следующий день любители музыки захватили власть в Москве. Еще через сутки — в Киеве.

*"Тайм" 28 июля 1989 г.*

## **Часть вторая**

### **Монархия на стройке**

Вчера в Сестрорецке в возрасте 79 лет скончался один из виднейших деятелей послесоветской России — Министр Двора барон фон-Хейфец. Убежденный монархист и глубоковерующий христианин, барон фон-Хейфец принадлежал к славной плеяде основателей самодержавной России, — таких, как Иван Рабинович, Ярослав Слуцкер, Иннокентий Вильнер и Ермолай Ковнер.

Трудно переоценить заслуги покойного в кропотливом деле восстановления монархии в России. Родина доверила Альберту Рафаиловичу труднейший участок монархического строительства — Министерство Двора Его Величества. Он блестяще справился с поставленной перед ним основной задачей — созданием дворянского сословия Второй Монархии. В первые послесоветские годы, когда страна остро нуждалась в передовом, сплоченном привилегированном классе, Альберт Рафаилович бросил клич:

“В период Реставрации кадры решают все!” Так начался знаменитый “Хейфецевский призыв” в дворянство. Специально созданная комиссия отбирала в новый класс лучших из лучших, достойнейших из достойных. Тысячи новых дворянских родов обязаны своим появлением четко налаженной работе возглавляемого бароном фон-Хейфецем ведомства. Это он предложил давать новым дворянам фамилии по местности, из которой происходили их предки. Так появились Бердичевские, Пинские, Витебские, Жмеринские и прочие дворянские семьи...

... В целях увековечения памяти верного и неутомимого борца за дело восстановления монархии в России, Петербургский Горсовет постановил переименовать Дворцовую площадь в площадь имени барона фон-Хейфеца.

*“Ведомости Санкт-Петербургского Горсовета” 1998 г.*

\* \* \*

В результате протестов некоторых влиятельных еврейских организаций, в том числе Всероссийской ложи Б’най Б’рит и Всероссийского Еврейского Веча, министр национально-религиозного возрождения архиепископ Антоний Бобруйский был вынужден уйти в отставку. Еврей по происхождению, архиепископ Антоний отличался религиозной и национальной нетерпимостью по отношению к своим бывшим единоплеменникам.

*“Ведомости Санкт-Петербургского Горсовета” 1998 г.*

\* \* \*

По бикини и плавкам загорающих на пляже Копакабана (Бразилия) трудно отличить, кто из их обладателей миллионер, а кто скромный клерк или машинистка. На это и рассчитывают многие знаменитости, желающие провести свой отпуск инкогнито, растворившись в безликой толпе. Однако местным журналистам удалось установить, что зарегистрированные в книге постояльцев гостиницы “Интерконтиненталь” доктор и миссис Гилевич, на самом деле, — Русский Император со своей приятельницей графиней Беленькой.

*“Плейбой” (русское издание) 1998 г.*

\* \* \*

Самая массовая петербургская газета "Вечерняя Копейка" продолжает печатать серию статей, почти открыто направленных против фаворитки императора княгини Беленькой. Эта крайне непопулярная в народе личность по слухам является фактической правительницей России.

*Агентство Франс Пресс из Петербурга, 1998 г.*

\* \* \*

Вчера в столице нашей Родины Санкт-Петербурге состоялось торжественное заседание актива Союза Истинно Русского Народа (СИРН). Перед собравшимися выступил первый секретарь столичного горкома СИРН, член Политбюро Святополк Эмильевич Каценеленбоген. Зал бурными аплодисментами, переходящими в овацию, встретил предложение докладчика избрать почетный президиум заседания во главе с Государем Императором.

Наше собрание, подчеркнул докладчик, проходит в знаменательное время, когда все истинно русские люди готовятся к празднованию юбилея восстановления монархии в России. Нелегким было возвращение поруганной жидобольшевиками России в лоно самодержавия. Воспользовавшись немногочисленностью и слабостью русского дворянства, дело восстановления монархии обманным путем захватили жидомасоны. Все истинно русские люди задают нам вопрос: как это могло получиться? Надо признать, господа, что для этого имелись определенные исторические предпосылки. В эпоху заката советской власти, когда изнасилованная большевиками стонала и корчилась Святая Русь, потомки тех самых жидобольшевиков, которые осквернили нашу Родину, вдруг почувствовали себя неудобно, как чувствуют себя крысы на тонущем корабле. И, подобно тем самым крысам, они стали бежать из России. Казалось бы, факт отрадный, который надо было бы всецело приветствовать. Но получив визы в страну своих предков — Израиль, они предпочли не ехать туда, где было слишком жарко от частых атак наших палестинских братьев. Им был более по душе центр мировых интриг — Париж и город желтого дьявола — Нью-Йорк. Торгуя вскормившей их Россией оптом и в розницу, они убедились, что состояния на этой торговле все же не сделаешь, и с далеко идущими целями стали просачиваться в

русские национальные организации за рубежом. И это, надо сказать, им удалось. Ключевые посты в редакциях периодических изданий и организаций, в названиях которых стояло слово "русский", занимали евреи. Многие из них приняли облик истово верующих христиан. Те же из их истинных единоверцев, которым тяжесть сундуков с золотом не позволяла бежать из России, тоже даром времени не теряли. Они проникали в круги верующих, захватывали в них руководство и даже принимали сан священников. При этом через международную сионистскую агентуру зарубежные и внутрироссийские оборотни сумели наладить между собой тесную связь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после крушения советской власти эти двурушники, хлынувшие мутным потоком обратно, слились со своими истинными единоверцами и захватили ключевые посты в послебольшевистской России.

В период важнейших монархических преобразований инородцы, дойдя до головокружения от успехов, стали допускать грубые нарушения революционной законности. Пышным цветом расцвело кумовство и местничество. Когда по личной инициативе Государя Императора стали проводиться мероприятия по денационализации земли, самые лучшие, передовые колхозы были отданы во владение евреям, а истинно русским дворянам достались отстающие, нерентабельные хозяйства. Так, например, пресловутая графиня Беленькая неизвестно за какие заслуги была премирована орденоносным крымским колхозом-миллионером "Дружба народов" (председателем которого был Герой Социалистического Труда Егудин), в то время, как заслуженные деятели нашей партии, годами ожидая своей очереди, получали отстающие поместья в нищей Вологодской губернии.

Сегодня, благодаря самоотверженному труду русских людей, Святая Русь превратилась в сильнейшее государство мира. Но наша партия учит, что с усилением внешней мощи нашего государства обостряется внутренняя национальная борьба.

До самого последнего времени в России не было политической партии, способной противостоять натиску антирусских сил. Ну, в самом деле, господа, разве партия, именующая себя Монархической, может отстаивать интересы Российской Монархии, если она состоит из "дворян Хейфецевского призыва"? Либеральная партия, представляющая интересы крупной буржуазии, тесно связанной с международным сионистским капиталом, тоже, разумеется,

в расчет не идет. Руководство Народной партии, к великому стыду России, более заинтересовано в голосах избирателей, чем в судьбе России, и в своем стремлении угодить всем более угождает жидам, чем патриотически здоровому молчаливому большинству. О левых партиях, я думаю, можно не говорить.

И вот в это критическое для нации время была создана партия нового типа — Союз Истинно Русского Народа, — собравшая под свое знамя всех тех, кто готов бороться с засильем инородцев, сохраняя и приумножая традиции наших отцов и дедов. К сожалению, далеко не у всех русских людей нашли отклик наши призывы. И в этом виноваты, прежде всего, мы сами, так как в прошлом не уделяли достаточного внимания идеологической работе. Мы должны добиваться, чтобы правдивое и живое слово нашей партии, разъяснения ее политики всегда доходили до масс. В этом деле большими, поистине неисчерпаемыми возможностями располагают устная агитация и пропаганда и средства массовой информации.

Господа, величие стоящих перед нами задач вдохновляет и наполняет нас чувством исторического оптимизма. Этот исторический оптимизм вливает в нас новые силы, ведет к новым свершениям и подвигам, помогает видеть за проблемами сегодняшнего дня наше светлое будущее.

Да здравствует СИРН — партия нового типа, закаленный в борьбе руководитель и вдохновитель наших побед!

Еще теснее сплотимся вокруг Государя Императора и Августейшей фамилии!

Выше знамя истинно русского патриотизма! (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Затем слово было предоставлено представителю рабочего класса, знатному слесарю-инструментальщику завода "Севкабель" Яну Яновичу Янцу:

— Скажу по-рабочему, по-простому, — говорит он. — Как веревочке не виться, а конец придет. Хватит, господа хорошие, попили нашей кровушки! Пора каленой метлой очистить нашу родную землю от инородческой нечисти. Никакой пощады врагам русского народа!

От имени молодежи слово берет студентка Петербургского университета Наталья Купчинаус.

— Все мы только что с большим вниманием прослушали замечательную речь великого патриота России, выдающегося между-

народного политического деятеля Святополка Эмильевича Казенеленбогена. Мы, члены организации "Истинно Русская Молодежь", считаем эту речь программным документом, руководством к действию. Для нас, молодых, ярчайшим примером беззаветного служения Родине является жизнь Святополка Эмильевича, прошедшего путь от простого секретаря Василеостровского райкома СИРН до члена Политбюро нашей партии.

ЦК Союза Истинно Русской Молодежи предлагает фракции СИРН в Народном Собрании разработать и внести в Собрание законопроект о создании парламентской комиссии по борьбе с антирусской деятельностью.

(Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают.)

Председатель объявляет собрание закрытым. Собравшиеся исполняют государственный гимн "Боже, царя храни!" и партийный гимн "Союз нерушимый".

Под сводами конференц-зала бывшей гостиницы "Советская", ныне отеля "Хилтон", мощно звучит:

Союз нерушимый племен и народов  
Сплотила навеки Великая Русь  
Да здравствует созданный волею Божьей  
Наш Истинно Русский Народный Союз.  
Славься, Отечество наше свободное!..

*"Новое Новое Время", 1998 г.*

*Л. Ицелев (р. 1946) — переводчик и писатель, окончил филологический факультет Ленинградского университета, эмигрировал в 1978 г., живет в Мюнхене, публикуется в периодической печати.*

---

*Ефим Грайвер*

### С КОММЕНТАРИЯМИ И БЕЗ

Советское общество не делится на классы — оно делится на очереди.

Пришел, увидел — доложил.

Время жить — время удирать.

От большинства по способностям. Меньшинству — по потребностям.

В Главлите: "Кроткость — сестра таланта".

Хорошо, когда ты можешь сесть и написать. Хуже, когда ты можешь написать и сесть.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В результате кораблекрушения путешественник Менахем Бегин попадает к каннибалам.

Ураганом второй мировой войны судно "Польша" было расколото пополам между Харибдой гитлеризма и Сциллой сталинизма. Единственный шанс для пассажиров уцелеть заключался, как во времена Гомера, в способности подобрать-ся ближе к Сцилле. По своей воле на этой стороне оказался и один из потерпевших кораблекрушение, еврей Менахем Бегин.

... К тому времени берег, куда он добрался, уже 23 года управлялся знаменитыми каннибалами. Поэтому Бегина не застала врасплох повестка на съединение: "Вас просят зайти в горсовет, ком. 23, с 9 до 11 утра, в связи с рассмотрением Вашей просьбы". Будучи по образованию юристом, он лишь удивился "халтуре" заготовителей человечины в нашем бывшем отечестве: они не проверили заранее, обращался ли он вообще с какой-либо просьбой к отцам города, прежним или настоящим.

"Органы НКВД, — записал он, — создали парадокс. Их власть над людьми почти безгранична... И все же НКВД предпочитает не арестовывать, а приглашать, действовать не открыто, а тайно... Истории известно немало случаев, когда граждане

*Михаил Хейфец*

### МЕНАХЕМ БЕГИН И НКВД СССР

(Заметки о необыкновенных приключениях на таинственном архипелаге ГУЛаг Менахема Бегина, написанные туземцем Михаилом Хейфецем).

создают подполье, чтобы действовать против властей; в Советском Союзе власть создала подполье, чтобы действовать против граждан" (32) \*

Еще сильнее удивил иноземного юриста метод каннибалов скрывать подготовку к съединению и после того, как добыча попала в их клетку: "Кто сказал вам, что вы арестованы? — удивился следователь. — Я просто хотел с вами побеседовать. Я задам вам несколько вопросов. Если ответите как честный человек (! — так. М. Х.), тут же вернетесь домой. С чего вы взяли, что вы арестованы?" (28)

"Таков метод, — сделал вывод Бегин о способе НКВД допрашивать "свежатинку". — Трудно сказать, — размышлял он далее, — к какому успеху он приводит. Тот, кто видел своими глазами возможности НКВД, почувствовал на себе работу "специалистов", не может понять, для чего столь мощной машине понадобился такой примитивный метод воздействия. Разве человек станет признаваться в приписываемых ему страшных преступлениях только потому, что следователь (вернее — "собеседник") обещает отпустить его на свободу?" (30) Тем не менее он, видимо, предполагает, что кое-кто все же верит обещаниям, иначе все выглядит совсем бессмысленным...

## **2. Первого следователя уносят с ринга.**

Между тем, разгадка метода, зафиксированного Менахемом Бегиным (меня через 34 года арестовали точно по тому же рецепту), ясна каждому туземцу, побывавшему в "позиции Бегина". Начнем с того, что вовсе не всякому преступнику бдительные Щиты и Мечи посылают повестку с явкой в "горсовет". Ни крупный валютчик, ни грабитель банков, например, ее не получит; даже работяга-антисоветчик будет арестован с использованием оружия. Но в среде каннибалов существует представление о наивности интеллигентов (выражаясь юридически, о "презумпции законопослушности в действиях особо опасных государственных преступников"). Говорил же Бегин следователю, что "на вопрос о моей антисоветской деятельности, я отрицал ее самым искренним образом" (35. Разрядка моя. — М. Х.)? Говорил. Ну, а на такого гуся, который почитает государство, право,

\* Менахем Бегин "В белые ночи", издательство "Москва-Иерусалим", 1978 г. Все обозначения страниц в тексте, в скобках возле цитат, — по этому изданию.

общество, мораль, славным рыцарям жалко тратить горячее, служебную машину, время оперативного наряда и т. д. Сам придет на место забоя!

Бегин однако оказался особью с революционной начинкой и заявил друзьям: "Если советская власть решила меня арестовать, пусть ее агенты придут ко мне домой. Это их работа" (15). Ну, ладно, его после неявки даже удостоили персональных топтунов, наконец, прислали на дом наряд; так он еще потребовал предъявить удостоверение и... ордер на арест! Словно он не в сороковом году в оккупированной Литве живет, а в семидесятом и с Сахаровым общается... Ордера, конечно, не нашлось, и не запасались им в те патриархальные годы, и наши славные товарищи так растерялись от еврейской наглости, что выдали преступнику государственную тайну — а именно, что он, действительно, арестован.

Но, узнав этот факт, Бегин сорвал с первого допроса маску "беседы" и поломал все планы следователя.

Для чего нужна была такая "маска"?

Для террора маска примитивна и глупа, Бегин прав. Но органы НКВД-КГБ не только орудие террора против общества. Они одновременно — важный канал получения информации об этом самом обществе. И насколько им относительно просто съесть человека, настолько же не по мозгам Учреждению добыть, понять и проанализировать информацию. (Палаческие функции не способствуют развитию коры в полушариях головного мозга). И тогда в их штабе на Лубянке возникла светлая идея: пользоваться для этой цели мозгами жертв. Гитлеровцы, те предпочитали изымать золотые коронки, кожу с татуировкой и пепел на удобрения, а "наши" любили собирать информацию — причем не только факты, но и мысли, и соображения. Пока законопослушный кандидат в покойники считал себя лишь "свидетелем", он помогал власти тем, чем может помочь ей законопослушный гражданин: делился с "собеседником" мыслями о каких-то идеях, проектах, о людях, которых он, как и самого себя, ни в коем случае не считал виновными в антисоветской деятельности "самым искренним, — повторяю, — образом"... Тут его и ждали.

О подлинном уровне интеллекта своих "допущенных" специалистов начальство всегда догадывалось; только для обывателей всех стран и народов оно распространяло сказочку об их "всезнании и всеведении" (Бегин, пообщавшийся с нашими гебистами

и с английскими контрразведчиками, подвел итог: "На основании собственного опыта могу посоветовать: не верьте в загадочную мудрость секретных служб: русской, британской, или любой другой. На них распространяются обычные пропорции ума и дурости, находчивости и недоразвитости" (14) \*. С другой же стороны, подследственный — это не свой брат, старый чекист; у него ум, образование, эрудиция. Зачем же его богатству без пользы пропадать в лагере? Прежде, чем осознает неизбежность своего конца, пусть отдаст, пусть все нам отдаст...

Но Бегин, узнав еще дома об аресте, спутал дальнейшие планы следователя. Удивительно, что, вовсе не понимая гебистские "танцы-плясы с присядкой", он почти идеально верно вел себя в гулаговской скотобойне. Я, во всяком случае, нашел у него только одну, и то ничтожную ошибку: он попросил у следователя пить.

Когда следователь спрашивает, в чем вы нуждаетесь, значит, он хочет выяснить, где ваше слабое место, и ударить по нему. Перед вами — враг, который знает, что "с врагами надо действовать по-вражески". (Отсюда солженицынская заповедь зэку: "Не бойся, не надейся, не проси".) Бегин же попросил — и заронил в душу следователя ма-аленькую надежду: подследственного тут же посадили лицом к стене на 60 часов — без сна и, разумеется, без воды; время от времени следователь заходил и спрашивал: "Вы готовы говорить правду?"

И опять сработала фантастическая интуиция Бегина: "Есть положения, в которых — попал ты в них по собственному желанию или нет — необходимо отказываться от многого и, прежде всего, следует избегать жаловаться" (48). Единственную свою просьбу он тут же превратил в орудие утонченного издевательства: мол, не можешь, друг-следователь, слабо тебе, землячок, чаю-то мне организовать: "Каждый раз я напоминал ему о чае, как ростовщик должнику" (48). И первый бой на ринге завершился тем, что следователя убрали в неизвестном направлении, а злорадствующий Бегин бросил вдогонку: "Если следователь еще жив — не погиб на фронте, не ликвидирован как еврей, не переведен в положение подсудимого — он наверняка и теперь продолжает "организовывать чай" (48).

---

\* Любопытно входит ли в понятие "любая другая" и израильская спецслужба? В годы своего правления он организовывал ей рекламу для публики совершенно того же типа, что англичане создают для "Интеллидженс Сервис", а совначальство — для своей гебухи.

Хотя непосредственно темы моей статьи это не касается, трудно упустить случай и умолчать о глубинной причине, которая сделала узника непобедимым для следствия: "Сидя напротив следователя, я чувствовал себя не заключенным, а сторонним наблюдателем, учеником. Такова сила любознательности! Даже если окажешься на дне жизни, в непроглядной тьме — открой пошире глаза и наблюдай, учись. Пока ты учишься, следователи-мучители не сумеют установить желанных им отношений: они — наверху, ты — внизу — и тогда ты сумеешь выдержать испытание унижением и остаться человеком" (26). То есть под следствием он уже писал свои "Белые ночи", и потому враги ничего не могли с ним сделать. (Понимаю, что другие люди найдут другие причины, но неслучайно же и сам Бегин выделил — эту).

Для советского читателя в победе узника над следствием самое интересное заключено вот где: Бегин и через 12 лет, когда издавал книгу, не догадывался о подлинном размере своего тогдашнего успеха (да, кажется, и до сих пор о нем не знает). Именно "размер его победы", который, по-моему, намного превосходит "равновесие" в личных отношениях со следователем — масштаб победы составляет "предмет нашего исследования", как выражаются ученые мужи.

### **3. Схватка с асом НКВД.**

Раз уж позволил отступление от темы, сделаю еще одно — для разбега.

В конце книги Бегин пробует объяснить загадочную казнь в 1941 году руководителей Бунда Альтера и Эрлиха, когда их, вроде бы уже подготовленных в качестве антифашистских лидеров мирового еврейства для визита в США, вдруг вызвали к Берия и в ту же ночь расстреляли. Бегин предполагает, что поводом для казни стало... нападение японской авиации на флот США в Пирл-Харборе. После вступления США в войну отпадала нужда в легатах "сомнительного" происхождения и убеждений; в новых условиях Михозэлс и Фефер вполне могли стать "эрзацами" Альтера и Эрлиха, а оригиналы за ненадобностью были сразу списаны "в расход" (куда через 11 лет "списали" и их заменителей): "Меня наверняка обвинят в пристрастии к парадоксам, но я убежден, что это не парадокс. На судьбу человека часто влияли далекие международные события, а он и близкие ему люди даже не подозревают об этом" (288).

На примере самого Бегина однако можно доказывать обратную теорему: судьба отдельного, частного человека нередко определяет важные международные события, а он и его близкие — даже спустя десятилетия — не подозревают об этом.

Вот исходные данные для ее доказательства, сообщаемые в книге Бегина.

Новым его следователем стал “молодой капитан НКВД” (любопытно, сколько же ему было лет, если показался молодым двадцатисемилетнему Бегину?). Поскольку до войны в НКВД не было чинов полковника и подполковника (вслед за майором сразу шел генеральский чин с опереточным названием “Старший майор”), молодой капитан НКВД соответствовал нынешнему подполковнику КГБ. Это доказывает, что против руководителя польского Бейтара НКВД “по второму заходу” выдвинуло следственного аса: делу придавалось первостепенное значение.

Следствие длилось много ночей, к допросам привлекали “переводчика” (об этой ключевой фигуре речь пойдет ниже); следователь официально объявил обвиняемому, что тот “пущен” по 58 статье УК РСФСР, которую “сформулировал сам Владимир Ильич Ленин”, — как с гордостью добавил капитан (106). Но вот подводится итог дела, и обвинительное заключение формулируется так:

“Признаю себя виновным в том, что был председателем организации Бейтар в Польше, отвечал за деятельность организации и призывал еврейскую молодежь вступать в ряды Бейтара” (118).

Позвольте, где же 58-я статья? Где неизбежные формулировки об “контрреволюционной и антисоветской деятельности”, “шпионаже”, “саботаже” или хотя бы — о “пропаганде”? Бегин неизменно горд, он посвятил целую главу описанию того, как ему удалось с помощью невероятной стойкости изменить формулировку с “признаю себя виновным” на “признаю, что был”. Но ведь это же, действительно, юридические “игры в бисер”! “Теперь мне также известно, — справедливо замечает Бегин, — что все сказанное... ни на йоту не повлияло на мою дальнейшую судьбу. И без этого я получил бы свои 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Того, что я был руководителем Бейтара в Польше, вполне хватало, чтобы получить срок от Особого совещания” (94—95). Он прав на сто процентов! Но странно, как ему самому не приходит в голову вопрос: тогда зачем велось следствие? Ведь то, что он являлся председателем Бейтара в Польше, было зафиксировано

уже в самом первом заявлении, поданном еще первому следователю. Что же они у него выясняли на последующих допросах?

Слепота Бегина особенно поразительна, потому что сам он приводит диалог с лагерным писарем, диалог, который, как говорится, буквально вопиет на слух мало-мальски опытного человека:

— За что осужден?

— Точно не знаю. Следователь сказал, что обвиняют по 58 статье.

— Что тебе сказали при вынесении приговора?

— Сказали, что я социально-опасный элемент.

Он записал "СОЭ" и, подавая мне карточку для подписи, потом сказал: "Никогда не упоминай 58 статью. Если спросят, скажи, что в приговоре написано "СОЭ". Это был совет узника НКВД зеленому новичку, и опытный заключенный знал, что говорил" (201—202).

Всякому туземцу, прошедшему школу ГУЛАГа, ясно, что это означает: обвиняемый Бегин был оправдан следствием НКВД по обвинению в антисоветской деятельности. Следствие отказалось от обвинения!

Другое дело, что оправдание вовсе не означало освобождения из заключения, как в иных, неканнибальских странах. Оправданный получал такой же срок, как осужденный! Так что для его личной судьбы оправдание никакой роли не играло, потому Бегин и не обратил на окончательную формулировку внимания. Но для самого себя следователь НКВД вел важное, серьезное и ответственное дело, Бегин это чувствовал, наблюдал и описал.

— "Вообще вам повезло, что у вас такой следователь, — сказал ему начальник следотдела, майор НКВД, — но я вижу, что он слишком хорош для вас" (125—126). Как ни удивительно, он говорил правду: Бегин видел, что его показания выслушиваются внимательно, записываются точно ("Даже в душе я не мог обвинить следователя в фальсификации" (102), следователь не жалел ни сил, ни времени на фиксирование все новых подробностей о партии Жаботинского, о Бейтаре, о борьбе и жертвах, целях и методах. Но зачем, зачем он тратил на следствие столько усилий (ведь, как и Бегин, работал ночами!), если приговор был вынесен еще до начала дела?

#### 4. Тайна следствия.

Капитан НКВД, готовясь к первому допросу, несомненно про-

читал все ориентировочные служебные справки и оперативные данные, имевшиеся в управлении по Бейтару\*. По его вопросам мы можем восстановить, что же именно знали энкаведисты о сионистских делах в 1940 году (и, видимо, что думали об этих делах политические руководители СССР — потому что НКВД всегда руководствовался политическими инструкциями, спускаемыми сверху).

Ну, например, что же, подготовившись к допросу, знал следователь о лидере ревизионистского крыла в сионизме — Зеэве Жаботинском?

— А, это наш старый знакомый, предводитель еврейских фашистов...

Ладно, отнесем эту характеристику за счет типичного для 30-х годов схематизма политического мышления большевиков: авторитарный лидер националистической организации для простоты расчета всегда заносился в графу "фашист"; а, например, Бен-Гурион, главный политический противник Жаботинского в сионизме, наверняка числился у них по разряду "социал-фашистов" (что я вряд ли ошибаюсь — доказывают такие слова следователя: "Ваш (Бегина — М. Х.) рассказ напоминает мне байки одного похожего на вас умника. Это член А-Шомер А-Цаир\*\*, и на свободе он был вредителем похуже вас" (87) Но вот: "Нам известно, что Жаботинский был полковником Интеллидженс Сервис"! — Этого энкаведист почему придумал?

"Скажите, где сейчас Жаботинский?

Вопрос меня удивил... Мой следователь, наверняка, специалист по сионизму, и ему должно быть известно о смерти Жаботинского. Но вопрос задан, и я должен отвечать:

— Жаботинский умер.

— Вы в этом уверены?

— К сожалению, да. (69)

— Где жил Жаботинский до поездки в Америку? (об этой поездке он, естественно, тоже узнал только в ходе вопроса — М. Х.)

— В последнее время он жил в Лондоне.

— В Лондоне? Ведь вы сказали, что англичане не пустили его в Эрец-Исраэль!

---

\* Так называлась молодежная организация при Всемирном Союзе сионист-ревизионистов (Вождь и идеолог — В. Жаботинский).

\*\* Крайне левая молодежная сионистская организация.

— Верно. Но в Лондоне ему разрешили поселиться.

Впервые за все время допроса следователь рассмеялся — искренне, весело и громко: вы мне рассказываете такие байки!..

— Но это факт, — пытался я его убедить. — Вот, например, гражданин следователь, англичане перед самой войной повесили бейтаровца Шломо Бен-Йосефа. Жаботинский был тогда в Лондоне и добивался помилования... встретился по этому делу с британским министром колоний.

Я был рад возможности, — продолжает Бегин, — сказать советскому офицеру, что бейтаровцы готовы за веру и идеалы рисковать жизнью... Но это дало ему повод спросить (разрядка моя — М. Х.), за что англичане приговорили Бен-Йосефа к смертной казни... Он слушал внимательно и не прерывал меня” (70—71)

Я прошу прощения у читателя за эту громадную цитату, но, не вдумавшись в нее, невозможно понять не только хода следствия по делу Менахема Бегина, но, по-моему, и смысла некоторых исторических событий в судьбе всей Эрец-Исраэль. Напомню еще раз, что следователь, ведущий крупнейшее дело по Бейтару, несомненно, готовился к нему, а не пришел на допрос, не поинтересовавшись, что имеется в еврейском (или сионистском) отделении НКВД, не прочитавши важнейших служебных справок, определяющих отношение советских властей к этой организации. И вот оказывается, что **такой** следователь не знает не только, где жил ее признанный вождь, но даже не слышал о факте его смерти! Следователь никогда не слышал, что англичане мешают еврейской иммиграции в Израиль; ничего не знает о недавней казни Шломо Табачника (Бен-Йосефа); короче, он не имеет никакого представления о политической жизни движения на протяжении, как минимум, десяти последних — перед арестом Бегина — лет.

Общая позиция сионистов на Ближнем Востоке представляется ему такой: “Разве не ясно, что, посылая людей в Эрец-Исраэль и требуя арабских земель, вы даете повод британскому империализму под предлогом защиты евреев тиранить арабских тружеников — рабочих и крестьян?” Не следует видеть в этих словах лишь советскую демагогию (и сила Бегина заключалась в том, что он увидел в следователе искренне убежденного в своей правоте человека). Видимо, до начала следствия сионизм, как самостоятельно развивающаяся сила, вообще не интересовал советское начальство: он казался им просто одной из карт в английской колоде. По

соглашению Сайкс-Пико будущие Сирия и Ливан отходили французам, будущие Ирак и Иордания — англичанам, а Эрец-Исраэль оставалась нейтральной зоной между двумя империалистами. Мандат на еврейский Национальный Дом дал англичанам пристойный повод прибрать к рукам эту нейтральную зону, вопреки соглашению с Францией. Именно так, английскими глазами, т. е. глазами Фильби и Ко, своих информаторов из английского МИДа и "Интеллидженс Сервис", и рассматривали сионистское движение кремлевские политики. А Жаботинский? Тот самый, что создал для англичан еврейский полк? Значит, их полковник. И ходил при этом в солдатской форме? Имел доступ к генеральному директору Министерства обороны? Значит, полковник "Интеллидженс Сервис". Это так ясно читается советским человеком в вопросах бегиновского следователя. (Конечно, в аппарате имелись сотрудники, прежде всего, евреи, которые наблюдали и фиксировали новую антибританскую направленность в рядах сионистов. Но в середине 30-х годов они наверняка не смели подвергать пересмотру господствующую концепцию: им впору было думать только о спасении своих жизней после смертного приговора руководителю Ближневосточного отдела Коминтерна Ицхаку Барзилау ("Йосифу Бергеру"))

И вдруг в сороковом году капитан НКВД в процессе следствия наталкивается на важнейшую информацию: оказывается в сионизме-то — а! — существует уже 15 лет влиятельное антибританское течение...

Это был год, когда, как теперь известно, Сталин договаривался с Гитлером о разделе мира. Главным врагом начинала снова казаться Британская империя, и Сталин просил у фюрера себе в долю — территории к югу от СССР. Следовательно, информация о них, полученная в НКВД — не МИДом, не ГРУ, не ИНО, а "внутренними каналами" — ложилась в сферу самых живых, самых злободневных для Сталина интересов его внешней политики. Какая великолепная добыча для ведомства! Разумеется, прежде, чем ее доложить, прежде, чем рискнуть опровергать традиционную версию, необходимо было проверить ее снова и снова.

"— Вы не являетесь национально-освободительным движением, вы агентура международной буржуазии и пособники империализма. Жаботинский — полковник Интеллидженс Сервис, он был сознательным агентом империализма. А ваш Йосеф, или как там

его, был, возможно, прислужником империализма несознательным. **Что касается вас, то мы еще посмотрим"** (72) .

То есть как — "еще посмотрим"! В начале допроса ему заявляют, что вся его деятельность "была антисоветской и контрреволюционной", что он "крупный политический преступник, хуже убийцы десяти человек" (67) , а после рассказа о Шломо Бен-Йосефе нужно еще что-то посмотреть?! Или... пересмотреть?

И на следующем допросе снова и снова (Бегин недоумевает: "Повторение является одним из прав следователя. А, может быть, одной из его обязанностей? Может быть, это метод воздействия на подсудимого?" (99) следователь повторяет ему одно и то же:

"— Разве не ясно, что... вы не только здесь помогали международной буржуазии; там, в вашей химерической стране вы тоже были агентами британского империализма, настоящими агентами". (98)

А какое, собственно, капитану вообще дело до этой "химерической страны"? К данному следствию она, Эрец-Исраэль, никакого касательства не имеет. Но следователь не жалеет своего времени и повторяет одно и то же, чтобы услышать все новые **опровержения** своей версии из уст подсудимого.

"На этот раз мой ответ состоял в основном из вопросов:

— Если мы агенты Британии, почему англичане не пускают нас в Эрец-Исраэль?.. Почему в последней Белой книге они заявили, что через несколько лет не пустят ни одного еврея в Эрец-Исраэль? Если бы мы действительно служили интересам англичан, то по логике вещей они бы помогали нам, а не мешали. Но факт остается фактом: они мешают нам на каждом шагу (99) "

... Книгу Бегина читатель, знакомый с нравами КГБ, читает, как отличный роман. Как известно, свойство такого романа — персонажи его начинают жить своей жизнью, уже вроде и не зависимой от воли автора. Помните, знаменитое пушкинское: "Какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Вышла замуж. Я этого от нее никак не ожидал"...

В самом деле нормальный следователь НКВД-КГБ на **нормальном** следствии никогда не допустит, чтобы ответ обвиняемого состоял, "в основном из вопросов": "спрашивает следователь, а не вы" — незыблемое правило КГБ (и, наверно, любого следствия). Следователь мог допустить монолог Бегина, состоявший целиком из вопросов, только потому, что был **заинтересован** в

вопросах, в опровержении следственной версии, что ревизионисты "были агентами британского империализма".

В этом месте "следователь неожиданно сменил пластинку", — замечает Бегин, и спросил обвиняемого: "Определите точно, настаиваю на точности, какова была ваша роль в организации?" (100). Бегин опять не понимает: почему вместо нормального вопроса его снова спрашивают все о том же: "Он уже задавал этот вопрос и получил подробный ответ. Теперь: "Определите точно"... Снова я ничего не понял". (100).

Между тем, следователю именно в этом месте протокола, который пойдет "наверх" (может быть, перепечатанный на самой крупношрифтной машинке), необходимо еще раз напомнить руководству, что информация исходит от знающего суть человека, от "председателя организации, генерального секретаря" (так записал в протокол следователь).

Но, может быть, все это придумано сейчас фантазией "туземца", может быть, предположение, что следствие по делу Менахема Бегина явилось важной вехой в схеме ориентиров советской политики на Ближнем Востоке, — всего лишь мой домысел, пусть даже вероятный?

Вот еще несколько фактов из книги Бегина, подтверждающие этот вариант, — причем факты потому для меня убедительные, что сам-то Бегин вовсе не понимает их истинного значения: он их только фиксирует.

"Позднее выяснилось, что после меня в Вильнюсе не был арестован ни один из видных деятелей движения и, в конце концов, всем им удалось совершенно законным путем — через Москву и Одессу — выехать в Эрец-Исраэль. Надо полагать, что немалое значение имела здесь игра случая. (! Так! разрядка моя — М. Х.). Еще до моего ареста отца Давида Ютина вызвали в НКВД и сказали, что сын должен все время быть дома: за ним придут. Давид Ютин прождал несколько дней, но за ним так и не пришли" (116).

Хорошенькая игра случая! Совершенно невероятная для каждого, кто знает нравы НКВД-КГБ: руководители националистического "империалистического" движения, уже подготовленные к следствию и этапу, вместо этого... выпускаются за границу законным путем. В 1940-м году!

Бегин получает в передаче платок от жены: на платке вышито имя: "ОЛЯ". Он догадывается, что в ошибке (его жену дома

звали "Аля", уменьшительное от "Ализа") зашифрован некий текст. Но какой? Догадался товарищ: "Знаю, — кричал он. — Надо читать ОЛЯ, и все становится ясно. Она "оля", едет в Эрец-Исраэль" (175).

Итак, жену осужденного особо опасного государственного преступника выпускают из СССР в Британскую подмандатную Палестину. Надеюсь бывшим советским людям не надо долго разъяснять, насколько невероятным для сталинских времен (и даже для куда более либеральных) являлось такое решение. Никакой "игры случая" в подобных делах не допускалось. Напрашивается единственно возможное объяснение: информация, полученная в ходе следствия по делу Бегина, была проверена, признана точной, и на ее основании политическое руководство приняло новое решение. Из "врагов народа" бейтаровцы были переведены в категорию "национально-освободительного движения", и началась засылка "кадров борцов" в намеченный начальством район...

## 5. Кто такой переводчик?

Одним из самых больших промахов на следствии Бегин считает свою просьбу к следователю пригласить переводчика.

Прежде всего, "переводчик" не был переводчиком. Бегин констатирует это: "В русском языке его познания были ограничены, зато в сионизме безграничны". (93). При всем неуважении к ГБ следует признать: людей, профессионально знавших, наряду с русским, польский или идиш, они могли в те годы раздобыть без труда. Зачем же пригласили "любителя"? Как он ведет себя на допросе? "Могу я ему ответить про сионистскую ложь?" — обратился переводчик к следователю со лъстивой улыбкой. — "Конечно, товарищ" (79). Опять-таки, при всем неуважении к ГБ, нельзя не признать: организация эта, в пределах поставленных ей задач, вполне профессиональна. А ни один следователь на Земле не позволит переводчику **вместо себя** вести допрос обвиняемого, особенно если переводчик не справляется и со своими прямыми обязанностями. Тем более подозрительные, недоверчивые свыше меры гебисты не могут позволить нормальному переводчику вести некие "беседы" с обвиняемым (тем более — еврею, да еще местному, вильнюсскому).

"Чего он не знал? — в изумлении перед эрудицией "переводчика" восклицает Бегин. — Он помнил наизусть письма Герцля и речи Жаботинского, он знал о встречах Вейцмана с Муссолини,

он мог отличить правое крыло от левого в Поалей-Цион... он помнил антикоммунистическую статью Айзека Рембы... руководителя Бейтара, — статью, которую я к стыду своему не читал... Мне не повезло: я пригласил ходячую энциклопедию сионизма (или анти-сионизма) — в лице переводчика, который знал много, включая имена руководителей сионистского движения. В ходе затянувшейся “беседы в комнате дознаний” диалог превратился в дискуссию троих” (94) .

Это — переводчик? Нет. Это референт. Это специалист и, возможно, сторонник версии “английского сионизма” но, в любом случае, это человек, профессионально **проверявший** верность следственной информации. Интересно, что сам Бегин, вовсе об этом не догадывавшийся (“ясно, что переводчик вовсе не облегчил моей задачи”, — сетует он), интуицией, чутьем актера, полностью вжившегося в роль, угадал суть происходившего. Вот эти строки:

“Эта ночь — ночь борьбы за веру в Сион и за достоинство верящих в него — была очень длинной. Бурная беседа закончилась перед самым рассветом. В ту ночь не был составлен протокол”... Прерываю цитату, чтобы прокомментировать это место. Следователь ГБ **не имеет права** вызвать обвиняемого на допрос и не оформить протокол. Дело не только в формальностях — ими могли бы и пренебречь. Но Бегин правильно заметил, что в НКВД не верят даже собственным следователям. Если следователь вызвал обвиняемого и не оформил протокол, значит, он, возможно, договаривался с ним о чем-то “неположенном”. Запрещено! Капитан НКВД мог не оформить протокол только потому, что это был не допрос, а “особое мероприятие”, которое было заранее спланировано, утверждено и по особому статусу разрешено руководством.

Какое же мероприятие? Продолжаю цитату: “Где я только что был? На конференции, которая обсуждала будущее моего народа? Куда я иду? Разве не в гостиницу? Подъем был так велик, иллюзия так реальна, что, войдя в длинный коридор 3-го этажа, где была моя камера, я обратился к дежурному офицеру, приняв его за администратора гостиницы:

— Для меня ничего не прибыло?

Офицер странно посмотрел на меня и выругался:

— Тебе что здесь, гостиница? Ступай в камеру. Если придет посылка, передадим. Нашелся!” (95)

Да, это была конференция! “Скорее спор, а не следствие, спор

между коммунизмом и сионизмом... между двумя мирами, столкнувшимися в маленькой комнате — рабочем кабинете офицера госбезопасности" (74—75). Конференция, которая, по моему мнению, сыграла важную роль в судьбах сионизма. Ибо один лишь Менахем Бегин там спорил и доказывал истину; его же оппоненты — от ГБ и партии — **не разговаривали** ни одной минуты. Они находились на службе, и они там **работали** — готовили решение для тех, от кого в значительной степени зависела будущая судьба Израиля и еврейского народа.

## 6. Размышление о петлях истории

Существует "херутный"\* вариант истории возникновения государства Израиль, сочиненный едва ли не самим Бегиним (в книге "Восстание") и сводящийся вкратце к тому, что именно анти-английское восстание, поднятое борцами ЭЦЕЛя во главе с Бегиним, "выкурило" англичан из Палестины, вынудило их уйти.

Благородно и естественно стремление борцов, отдававших жизни, жертвовавших всем для народа и Сиона, ощутить позитивные исторические результаты именно как **прямые** результаты их усилий. Это так по-человечески понятно! Но, не вдаваясь в тонкости конкретного сюжета, связанного с получением Независимости (я, наверное, недостаточно подготовлен, чтоб судить об этом квалифицированно), нельзя не отметить двух факторов, которые будут смущать любого профессионала-историка, занимающегося этим сюжетом и принимающего "херутную" версию всерьез.

Первое — почти одновременно с Израилем, кто раньше, кто чуть позже, независимость, притом **без всякого восстания**, получили Сирия, Ливан, Иордания, Ирак (перечисляю только ближайших соседей. Из дальних стоит упомянуть Индию). Следовательно, восстание вовсе не являлось в те годы фактором, ведущим к независимости.

Второе, — как ни парадоксально, но именно восстания, подобные "эцелевскому", **обычно задерживали** в те годы получение той или иной страной независимости. Куда позже Сирии и Ливана получил независимость от Франции восставший Вьетнам, а еще позже Алжир. Что касается Британской империи, то там, кажется, ни один восставший народ, кроме евреев, так и не получил независимости до окончательного подавления восстания: англичане

---

\* "Херут" — название партии Бегина, принятое после возникновения независимого Израиля.

сначала подавили восстание мау-мау в Кении, а потом дали ей независимость, и точно так же они, лишь окончательно подавив повстанцев в Малайе, приступили к процессу передачи власти малайцам.

Конечно, аналогия — не аргумент, особенно в истории. И все-таки у объективного исследователя неизбежно возникает ощущение, что версия о “решающей роли” восстания возникла как субъективная реакция “херутников” на столь же субъективное и резко несправедливое отношение к их борьбе в первые годы существования Израиля — при Бен-Гурионе.

Но, с другой стороны, такой исследователь не может обойти **другой** политико-дипломатический результат борьбы ЭЦЕЛя, сыгравший важную роль в достижении Израилем независимости.

Когда учитель Бегина, Зеэв Жаботинский оценивал боевую деятельность созданных им частей, он не предавался иллюзиям насчет прямых военных итогов: “Чисто военное значение легиона было не больше и не меньше того, какое три батальона могут иметь в большой войне. Это не много и не мало. Это то, что есть... Но главную свою роль сыграли эти пять тысяч и то движение, которое их породило, в области политической”. Он пояснил: “Культурный и колонизационный сионизм лежал безнадежно вне круга тесного, резко ограниченного кругозора воюющих народов и правительств. Только одна форма сионизма в состоянии была проникнуть в это узкое поле зрения” — участие еврейских боевых частей в войне на стороне вероятного победителя. Конечно, это был сотый, всего лишь последний шаг, сделанный на пути к декларации Бальфура, но не будь он сделан, остальные 99 шагов могли пропасть!

Через четверть века, в эпоху борьбы ЭЦЕЛя против англичан, сложилась похожая ситуация. Культурный и колонизационный сионизм вновь выпал из кругозора великих держав, а без их участия было мало шансов, что Британская империя решит палестинский вопрос с учетом требований сионистов. США были союзниками Англии и не пошли добровольно на конфликт ради еврейских интересов. Оставался Советский Союз. Сталин несомненно ненавидел евреев и особенно евреев “левых”: сами себя они могли обманывать, доверяя ему, но он-то был убежден, что даже “полезные дураки” (термин Ленина) из них — в потенции самые ненавистные ему противники в социалистическом движении. Однако **боевая** организация, действующая против англичан, его очень интересова-

ла — пусть “крайне правая”, пусть “фашистская”! Вот любопытное свидетельство: “Прием генсека компартии Палестины Бергера Сталиным произошел 5 марта 1929 г. в здании ЦК ВКП (б) и продолжался с 17.30 до 22 часов... В центре обсуждения — палестинский вопрос: нужно ли еврейским коммунистам выступать против британского империализма совместно с арабским националистическим движением, носившим антиеврейский характер и инспирировавшим кровавые еврейские погромы. Утвердительно отвечая на этот вопрос, Сталин говорил о **необходимости любой деятельности, могущей нанести вред англичанам**”<sup>\*</sup> (так!). Поэтому ЭЦЕЛЮ он был готов помогать, а именно поэтому и “от имени Сталина политический комментатор “Правды” Д. Заславский восторгался на международной конференции журналистов в Праге деятельностью ЭЦЕЛЯ и мужеством его бойцов”, — наивно радуется Бегин (292). Объективно именно деятельность отчаянных смельчаков-боевиков ЭЦЕЛЯ заставила СССР приглядеться к сионизму, как к козырю в своей политике: но то, что интересовало СССР, попадало в центр внимания остальных великих держав. Именно в такой обстановке Вейцману и его друзьям удалось вырвать в 1917 году декларацию Бальфура. Спустя тридцать лет Моше Шарет использовал подобную ситуацию, чтобы “пробить” решение ООН о создании Еврейского государства.

Партийные страсти — такой же предмет изучения для историка, как и любой другой, не более того. Окидывая ретроспективно взглядом историю создания Израиля, мы видим, что там, где субъективно бушевала непримиримая, страстная, жестокая, иногда братоубийственная вражда между сионистами — там, под поверхностью событий, возникало взаимопонимание и воздействие друг на друга разных общественных групп израильского “ишув” — в первую очередь, социалистов и “Херута”.

Когда-то на вопрос члена английской парламентской комиссии: “В чем разница между вами и большинством?” — Жаботинский ответил коротко: “Мы считаем их недостаточно решительными”. Он ошибался: ни Бен-Гуриона, ни Голду Меир нельзя упрекнуть в недостатке решительности, и преемник Жаботинского Бегин испытал это, увы, на себе. Они, прагматики, реалисты, просто не видели возможностей там, где их чувствовал романтик от

---

<sup>\*</sup> Записано со слов Бергера и опубликовано в журнале “Шалом” № 7 (43), стр. 7, Зэвом Дубновым

политики Жаботинский. Но вот ранней весной 1945 года один из информаторов Бен-Гуриона рассказал ему, что на Ялтинской конференции Сталин сказал Черчиллю: "Есть только одно решение арабо-еврейской проблемы, которое Советский Союз намерен поддержать: создание еврейского государства".

"Услышав слова российского диктатора, Бен-Гурион вскочил. Через много лет он припомнит, что именно в этот момент им овладела абсолютная уверенность — у еврейского народа будет в Палестине свое государство. Под совместным давлением Советского Союза и США Англия несомненно вынуждена будет уступить"\*.

Для Бен-Гуриона позиция Сталина была неожиданной. Сам Сталин к ней пришел постепенно. И свою роль в этом, вероятно, сыграли донесения и доклады НКВД-МГБ, начало которым, видимо, положил Менахем Бегин. В ту ночь, когда в рабочей комнате офицера госбезопасности шел спор сионизма и коммунизма, рождалась новая политическая реальность!

Дальнейшее известно из книги Шимона Переса "Идти с людьми": на двадцать втором Базельском сионистском конгрессе Давид Бен-Гурион, выступив против проанглийской линии Вейцмана и Нахума Гольдмана, заявил:

"— Я еду основывать новое сионистское движение... Здесь большинство за теми, кто разрушит будущее. Нашему народу нужно новое движение, движение молодых, убежденных, халуцим и смельчаков. Я пойду к ним и пойду с ними. Буду делать то, что нужно на самом деле, даже если буду в абсолютном меньшинстве".

Это говорил Бен-Гурион? Не Жаботинский? Это он решил ревизовать прошлые догмы? Создать новый союз... ревизионистов? Правда, авторитет Бен-Гуриона, брошенный на чашу весов при голосовании, привел к тому, что "большинство, хоть и незначительное, встало на сторону Бен-Гуриона... Открылась новая страница в истории сионизма. Так меньшинство, состоящее из одного человека, превратилось в большинство, избравшее новый путь. Зерно было посеяно, был дан сигнал к возрождению еврейского государства, и это было величайшим из достижений Давида Бен-Гуриона", — закончил рассказ Шимон Перес. Все правильно, но ведь землю-то в том месте, куда брошено зерно, вспахал — Менахем Бегин. До чего все-таки насмешлива еврейская история!

---

\* Цитирую по книге Л. Коллинза и Д. Лапьера "О, Иерусалим", изд. "Библиотека Алия", 1979 г. стр. 38—39

Впрочем, шутила она над обеими сторонами: потому что величайшую мечту социалистических вождей Израиля — принять египетского президента в объединенном Иерусалиме и подписать с ним мирный договор — она доверила их сопернику и преемнику Бегину. На этот раз все было наоборот: именно социалисты создали благоприятную историческую ситуацию, а Менахем Бегин оказался достоин того, чтобы превратить ее в реальность. И теперь, когда он ушел от дел на покой, его имя все чаще повторяют рядом и вслед не с именем Жаботинского, как он сам безусловно хотел бы больше всего, а сразу после имен ушедших исторических лидеров, основателей государства: Давида Бен-Гуриона, Голды Меир и других — то есть самых ожесточенных, самых несправедливых и непримиримых его политических соперников.

Ну разве можно от такой отечественной истории требовать прямых и однозначных простых, "партийных" ходов?!

### 7. Почему именно Бегин?

Но почему именно "делу Менахема Бегина" суждено было переломить большевистские догмы? Я не занимаюсь "культом личности" и отлично понимаю, что без вклада сотен и тысяч мужественных сионистов, без героической жертвы Шломо Бен-Йосефа, без многолетних усилий по борьбе с британскими властями никакое красноречие Бегина на следствии не имело бы значения. Но факт состоит в том, что именно ему удалось первому превратить потенциальную энергию ревизионистского движения в фактор международной политики и тем самым оказать влияние на судьбу всего Израиля.

Каковы личные качества, которые сделали этого человека исполнителем главной роли в исторической пьесе современного ревизионизма?

Как ни удивительно, но опять-таки в книге Шимона Переса я нашел те слова, которые объясняют "феномен Бегина", хотя они справедливо относились там к его злейшему и непримиримому противнику — Бен-Гуриону: "У Бен-Гуриона были два важнейших качества настоящего вождя: земной реализм и мечта, возносящаяся в небеса... В отличие от других руководителей нашего века, он не старался приспособить существующую действительность к новому пути, а пытался создавать новую действительность из абстрактной идеи". Эти же качества отчетливо прощупываются и в личности современника Бен-Гуриона и его главного оппонента на политической сцене Израиля — Менахема Бегина.

С одной стороны, он несомненный романтик, поэт, погруженный в мир своей души, и этот мир для него важнее и интереснее, чем мир земной реальности. Вот он пишет о смерти Учителя: "Если бы я попытался, посвятив этому много страниц, объяснить, что означала для меня смерть Жаботинского, посторонний меня бы не понял. В данном конкретном случае понятие посторонний распространяется на моих соплеменников. Поэтому скажу только: безвозвратно ушел носитель надежды, а с ним — тоже безвозвратно? — сама надежда..." (18). Разве это фразеология — профессионального политика? Нет! Или: "Ты сидишь внизу, слушаешь и вдруг ощущаешь, что слова Учителя поднимают тебя ввысь. Ты покорен? Это не то слово. Кто-то шепчет на ухо: "Ты будешь верен мне, идее, всегда, всю жизнь". И ты отвечаешь: "Да, буду верен" (44). Иногда он сам осознает свою романтическую оторванность от грешной земной жизни: "Может быть, мне поможет, — подумал я (святая наивность), — если следователь внесет в протокол мой рассказ о социальном происхождении членов Бейтара, о том, что еще подростком мне приходилось давать частные уроки и этим помогать семье" (76); иногда, как в случае с похвалой в адрес ЭЦЕЛЯ от Д. Заславского, которого даже вовсе небрежливый Ленин называл "известной проституткой", его наивность вызывает улыбку у искушенного советского туземца...

Поэтому неудивительно, что когда Бегин пришел к власти в 1977 г., "овамо и семо" шли рассуждения о мессианисте и утописте, о романтике, который умеет произносить зажигающие толпу речи, но не способен к трезвой, реальной, практической работе государственного деятеля. Многие предвкушали его скорое банкротство в новой и, как они считали, неподходящей для него роли ответственного политика. "Куда этому утописту!"

Теперь, когда миновал исторический срок его лидерства, можно уверенно сказать: Бегин проявил исключительное тактическое мастерство, удерживая в одной правительственной упряжке такую разношерстную коалицию разных партий; он проявил высокую государственную мудрость, заключив Кэмп-Дэвидский договор. И как практический политик, и как государственный деятель он навсегда занесен в историю Израиля — несмотря на неизбежные для любого крупного деятеля крупные ошибки, подобные несчастливой Ливанской войне (а разве Бен-Гурион не бросил необученных новобранцев, вопреки предупреждениям военных, на гибель под стенами Латруна? Разве он не совершил громадные про-

счета в оценке политической ситуации в 1956 году? Разве не допустили громадные ошибки Голда Меир и особенно Моше Даян в 1973 году? И разве, вопреки этому, подводя итог, не говорим мы все, израильтяне без различия партий и направлений, что это были великие люди в истории Израиля!).

Как это могло произойти? Как несомненный романтик сумел стать выдающимся государственным деятелем?

Ответ можно найти в книге "В белые ночи".

Мы, евреи, при всей внешней отзывчивости к мировым идеям, монологичный по характеру народ: увлекаясь созданным нашим воображением и логикой миром, не замечаем реакции на нас окружающих объектов и субъектов. Эта самопоглощенность своим внутренним миром помогла сгустку людей выстоять в виде особой общности на протяжении двух тысячелетий изгнания — ситуация, почти уникальная в человеческой истории! Но это же свойство национального характера, придавшее ему такую мощную устойчивость, — когда беседуют, не слушая собеседника, когда общаются, не замечая объекта общения, живут рядом, торгуют, здороваются, шутят с соседом, и в то же время находятся как бы "на другой планете", в иной, не пересекающейся с соседом плоскости жизни, — думается, именно это свойство, прежде всего и вызывало тот стержневой антисемитизм всех племен и народов, который тенью сопровождал еврейскую общину в ее скитаниях.

Это лирическое отступление о евреях понадобилось мне затем, чтобы сказать: Бегин сумел, почему — я сам не знаю, преодолеть эту самопоглощенность. Он умел слушать, понимать, видеть мир глазами другого. Без этого — нет настоящего политика и государственного деятеля.

Вот он сидит в камере с двумя поляками и признается им, что он предпочитает остаться в тюрьме, лишь бы не началась война и другие евреи не попали в руки гестапо: "Я тоже хочу выйти на свободу, но за такую цену мне свобода не нужна" (58). Поляки возмущены этим критерием — "что хорошо и что плохо для евреев", этой "еврейской солидарностью даже в тюрьме". Казалось бы, какой повод для другого автора порассуждать о пресловутом "польском антисемитизме"! Бегин же пишет: "Я совершил грубую психологическую ошибку, заявив, что не присоединяюсь к их немым молитвам (о войне, которая их освободит — М. Х.) — молитвам-надеждам заключенных, молитвам-утешениям несчастных"

(59) . Здесь он демонстрирует редкое у людей понимание — что это не они на него кричат, это их боль кричит...

Вот еще один сокамерник: "Мордехай Бернштейн был одним из руководителей Бунда в Польше... Наши идеологические разногласия невозможно было преодолеть даже в тюрьме Лукишки, но Бернштейн оказался добрым человеком, хорошо знал иврит, умел шутить в самые трудные часы, и мы подружились" (159) . Или: "Лея Витковская была очень душевная женщина. Когда-то она была активисткой Бунда (везет мне на бундовцев)" (286) . Израильтяне, увы, знают, что такое вот объективное отношение к достоинствам вечных политических противников — отнюдь не привычное явление в нашей политической жизни. Но оно же и объясняет, почему Менахем Бегин мог успешно работать с социалистом Даяном, демократом, Ядином, либералом Эрлихом, религиозным деятелем Бургом.

Страстный еврейский националист, он пишет: "В Джизаке я познакомился с еврейкой, муж которой был русский... Ее муж, молодой, энергичный, высокий и красивый человек был предан ей всей душой" (305) . Что угодно можно сказать о таком человеке, но уж мракобесной ксенофобией, этой типичной галутной болезнью, он не страдал и тогда, в галуте.

Пленник русской тюрьмы, он умеет понимать страдания русских. Это очень скупое выражено в книге, но когда зловещий атаман уголовных бандитов Красноборodka рассказывает, как "начальник над нами издевался, и мы решили, что русская земля не может больше носить такого гада" — ощущается, что Бегин понимает чувства этого человека. И потому читатель не удивляется, когда через несколько страниц Бегин упоминает мимоходом: "Во всяком случае ко мне Красноборodka относится неплохо..."

Весь этот кусок о способности Менахема Бегина, романтика и революционера по темпераменту и духу, объективно вникать в мир чужой души понадобился мне для того, чтобы предположить: Бегин сумел убедить своего следователя, "переводчика", а за ними их руководство в своей правоте потому, что он сумел увидеть действительность их глазами, услышать себя и свою аргументацию их ушами и найти те, единственно возможные доказательства, которые были понятны именно людям большевистского образа мыслей. Он неутомимо искал в построенных на большевистском фундаменте теоремах пробелы в доказательствах и умело использовал их для поворота теоремы в свою пользу. Вы, больше-

вики, создали Еврейскую автономную область? Значит, сами считаете, что евреям нужна своя территория. Вас постигла неудача — почему? Потому что вы выбрали не ту территорию. Если бы вы могли предложить евреям Эрец-Исраэль, эксперимент “а ля Биробиджан” кончился бы совсем по-другому. Сам Бегин немного испугался, увидев зафиксированными в протоколе свои мысли о “биробиджанском провале”, но на самом деле это было именно то, что должен был им сказать. Принцип был правилен, — поняли большевики, тоже ведь озабоченные причинами своей неудачи, — но, оказывается, место они выбрали неверно, без учета исторической традиции. Сталин был готов принять эту “географическую” поправку: она ничего не меняла в его мировоззрении...

Можно бесконечно много писать о тонкостях отношения Бегина со следствием, но размеры статьи останавливают меня. Хочу упомянуть лишь о казни Шломо Бен-Йосефа: эта гибель еврея на английской виселице показалась следователю неопровержимым аргументом. Мог ли надеяться неудачливый, отчаянный еврейский парень, что его смерть, преображенная в руках политика в рычаг, которым опрокидывают идеологическую химеру чужого мира, спасет от гибели многих его товарищей в Литве и, в конечном итоге, поможет родине снова стать еврейской! Еще одно доказательство теоремы о влиянии судьбы отдельного человека на далекие от него международные события...

## **8. Великий урок ГУЛАГа.**

Менахем Бегин был рожден революционером. Хасмонеи и покорители Бастилии, Бар-Кохба и Спартак, Вашингтон и Гарибальди — вот его идеалы в истории, вот образцы, которым он хотел следовать. Насилие было для него приемлемым и естественным способом борьбы — в силу его природного темперамента и вытекавшего из него мировоззрения. Он — человек, чье нормальное существование требует обостренного конфликта с миром, и в этом конфликте он видит красоту жизни. “Есть упоение в бою и мрачной бездны на краю”, — писал русский поэт. Бегин вторит ему: “Железо способствовало невиданному прогрессу человечества и в то же время навлекло на него страшные бедствия. Оно обогатило жизнь и умножило смерть” (281). Бегин не хотел отказываться от богатства жизни, уступая боязни перед смертью — своей или чужой.

Люди подобного темперамента легко и незаметно для себя

принимают принцип "цель оправдывает средства" и, как справедливо заметил Бегин, постепенно он трансформируется у них в философию: "Любая цель оправдывает любые средства". Троцкие и Свердловы и даже Гитлеры и Сталины не были чудовищами от рождения. Они просто прошли до конца логический путь, открываемый атеистической (и одновременно — мессианской) доктриной перед человеком, занявшимся политической практикой.

Кто знает, как сложилась бы судьба Бегина в ином случае, но она была такой, какой мы ее знаем. Он попал в ГУЛАГ и собственными глазами увидел, как выглядит эта доктрина в действии. И это заставило задуматься еще и еще раз над дилеммой целей и средств, лежащей в основе человеческого существования. Через много лет, беседуя с английским историком лордом Бетеллом, Бегин вспомнил: "Я написал книгу о пережитом мною в России. Большевики утверждали, что всякая цель, преследуемая их властью, оправдывает применение всех средств. Есть цели, ради которых можно прибегнуть к некоторым средствам, но не ко всем. Такова моя философия. Поэтому мы старались не наносить ущерба гражданскому населению. Поэтому мы никогда не совершали нападений на мирных граждан. По этой причине мы перед всякой операцией обычно предупреждали гражданских лиц".

Я не уверен, что бегиновское "мы" можно распространить на всех его соратников, и ненависть Бен-Гуриона к "Херуту" объясняется еще и тем, что он знал: среди бойцов ЭЦЕЛ есть люди, готовые пройти революционным путем до жуткого конца! Но безусловно, такая философия отражала суть мировоззрения самого Бегина, и он умел остужать страсти своих соратников, не узнавших того, что он успел узнать в мире ГУЛАГа.

Националистические партии в борьбе с "левым революционизмом" часто идут путем противника, следуя той же революционной логике, только основанной на других аксиомах. В результате возникает мир, похожий на мир "58-й статьи", лишь в другом словесном оформлении. Чтобы не беречь нашу память Германией (которая ведь оправлялась после национальной катастрофы в Версале), напомним франкистскую Испанию, Грецию "черных полковников", Аргентину или Чили при Пиночете...

Я думаю, Израилю здорово посчастливилось, что у нас националистическую партию возглавлял такой человек, как Менахем Бегин. Он был человеком революции, человеком конфликта, раздувавшим конфликты в силу своего темперамента и своих

убеждений, но при этом, насколько это зависело от него и насколько его не подводили соратники, всегда стремился удерживать конфликты в пределах, допустимых в демократическом государстве. И если даже после Ливанской войны, после Сабры и Шатилы, мы верим не только в силу, но и в справедливость своего общества, если мы знаем, что Б-г не покинул нас, — мы в немалой степени обязаны этим тому, что Менахем Бегин всегда помнил:

“Цель оправдывает средства? Если ты восстал против тиранов и поработителей, можешь подтвердить это правило.

Любая цель оправдывает любые средства? Нет!

Цель оправдывает любые средства? Нет!

Любая цель оправдывает любые средства? Нет и еще раз нет!”  
(284) .

Конечно, свободный человек живет лучше, чем заключенный. Но никогда бывший заключенный не согласится считать просто пропавшими года, проведенные им в тюрьме. Он знает, что там он получил опыт и знания, которые может быть, дорого обошлись, но обогатили его жизнь, как обогатило жизнь всего человечества “кровавое железо”. Годы заключения Бегина не пропали даром: они обогатили его самым ценным — жизненной философией, умением противостоять соблазнам “цели” и хранить демократию, свободу и родину как величайший дар Б-га сильному и справедливому народу.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”  
ПЕРЕИЗДАНИЕ  
МЕНАХЕМ БЕГИН “В БЕЛЫЕ НОЧИ”**

317 стр.

9 долл.

В 1940 году Менахем Бегин, лидер польского “Бейтара”, оказался в лапах НКВД и почти год провел в сталинских лагерях за Полярным кругом. Он рассказал об этом в книге “В белые ночи”. Сегодня, перечитывая эту книгу, читатель открывает в ней то, о чем не подозревал сам Бегин. Как пишет М. Хейфец в статье “Менахем Бегин и НКВД СССР”, “на примере Бегина можно доказывать: судьба отдельного человека нередко определяет важные международные события, а он — даже спустя десятилетия — не подозревает об этом. Следствие по делу Менахема Бегина явилось важной вехой в смене ориентиров советской политики на Ближнем Востоке, заставило СССР приглядеться к сионизму как козырю в своей политике”. Вот почему книга Бегина “В белые ночи” читается сегодня как напряженный и увлекательный политический детектив, рассказывающий о схватке, которая повлияла на ход истории.

**Заказы и чэки направляйте по адресу:**

**“Moscow—Jerusalem, P. O. B., 7045, Ramat—Gan, Israel**

Как учредить республику, если нет республиканцев? — восклицал поэт Ферранто Палла, герой романа Стендаля.

Как возродить с помощью религии Россию, если в ней так мало верующих? Хочешь, я открою тебе "страшную", государственную тайну? Почему-то никто не догадывается об истинном положении вещей: религиозного возрождения в России скоро быть никак не может, потому что... потому что... закрой глаза, а я прошепчу тебе на ухо: потому что мы не христианский народ, мы — язычники! Да-да, язычники самые натуральные, и язычество у нас органическое, еще со времен Перуна, Велеса, ну, словом, то, какое было до поры, когда Святой Владимир окрестил Русь, в 988 году. Скоро уже тысяча лет, а мы так и не стали христианской нацией. Избы наши — со времен Рюрика (разве что печь въехала прочно, так ведь даже в XIX веке в некоторых местах еще топили по-черному!), и вера той же почти поры.

Ага, я вижу твое огорошенное лицо... Да, я припас тебе несколько сюрпризов, потому что мне надоела эта болтовня о том, что православие Русь спасет, — в то время, как мы и до

*Федор Лыков*

#### ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

(окончание; начало см. "22", № 31)

православия-то по-настоящему не дошли.

Увы! как ни грустно мне это признать, но знаменитый спор Белинского с Гоголем русской жизнью и русской историей решился в пользу Белинского, уверявшего, что ни один народ в мире не создал столько пословиц, направленных против церкви и священников, как народ русский. Потому что народ русский безрелигиозен. Гоголь страстно хотел увидеть в России осуществленное в идеале христианство. Об этом же мечтали Достоевский, Толстой. Мечтали тем яростнее, чем вернее видели несбыточность этого. В 1917 году наши мужики-богоносцы отдали церковь Ленину, как двести лет назад перед этим отдали Петру Великому патриарха, когда Петр вводил казенный синод. Ни Петр Первый, ни Ленин не вздумали щадить религиозные чувства. Может быть, еще и потому, что знали — их не так уж много?

Вот уже свыше полувека мы живем как атеистическая страна. Много ли христианских праздников уцелело в нашей жизни? А вот языческих — сколько угодно. Забавно, что никто этого не понимает. Но многие недоумения, даже Хедрика Смита, легко объясняются существованием в нашем быту крепких языческих обрядов, тесно вросших и приспособившихся уже и к нашей индустриальной жизни. **Почти тысяча лет идет на Руси борьба язычества и христианства**, как шла она в первые века после крещения. И нельзя сказать до сих пор, чтобы христианство одолело окончательно.

Смит пишет, что русские, "словно язычники, боятся дурного глаза, прислушиваются к рассказам старых бабок, проповедуют народные методы лечения". Поставив "словно язычники" — как неоспоримость вздора, Смит и не догадывается, что здесь-то он, как нигде, близок к правде.

Да-да-да — язычники! Вот Смит недоумевает, что русские слишком любят баню, где проводят время подолгу, выпивают и закусывают — "явление чисто русское". Что это — привычка? Ничуть не бывало! Это древний языческий обряд, поклонение умершим предкам "навьям", которым — вместе с берегинями, упырями — поклонялись еще прежде Перуна. Этим навьям поклонялись так: топили баню, ставили мясо, яйца, масло, а потом мылись и еду съедали. Не находишь ли ты, что это **моление навьям** сохранилось у нас за тысячу лет почти в неизменном виде?

А русские безумные пиры? безрассудное гулянье на свадьбах всей деревней? Пьяные поминки? Да это, милый мой, тоже

язычество. Языческий пир это всегда одновременно и жертвоприношение.

“Застарелое чувство, по которому принесение обильной жертвы и самая возможность совершить великое моление составляет главную надежду и центральную религиозную заботу человека. Это чувство не исчезло, оно лишь претворилось. Обилие праздничного стола — показатель довольства, источник радости, предмет гордости и в нынешнее время. Праздничный разгул, в котором часто обвиняют крестьян и который кажется безумным, исходит из этого древнего бытового пиршества, когда не жалели запасов”, — писал в 1914 году знаток древнего русского язычества Е. В. Аничков (Е. В. Аничков. Язычество и древняя Русь. Спб. 1914, стр. 163). Все это поразительно живо и в наши дни, во многом определяя нашу бытовую повседневность.

Разумеется, тысяча лет после крещения не прошла для нас понапрасну, и языческие обряды переплелись так тесно с христианскими, что иногда их и отделить бывает невозможно. Однако характерной особенностью русской жизни с X века осталось **двоеверие**: приняли закон Христа, но в быту и в жизни остались язычниками. Свеча у колодца, которая стояла во многих областях России еще в XIX веке, — это тоже символ двоеверия. Русские язычники бросали свои жертвы богам в воду. “В воду мечют” — говорится о языческих жертвоприношениях в “Слове Иоанна Златоуста о том, как погании кланялись идолом”. Не осталось ли это в русской натуре — разудалым, бессмысленным, нерасчетливым, стихийным ухарством? Мы ведь дорожки шампанским поливаем и сейчас...

Православная церковь все столетия своей жизни на Руси боролась с языческим “бесовством” — песнями, плясками, играми, скоморошьими забавами, пиршествами народного бытия, но так и не одолела их. В знаменитых “Правилах Кирилла митрополита”, написанных в XIII веке, с сокрушением церковным описано языческое времяпрепровождение народа, которое сохранилось и по сей день: “И в субботу вечер собираются вкупе мужи и жены и играют и пляшут бестудно и скверну деют в ночь святого воскресения, яко Дионусов праздник празднуют нечестивии елины вкупе мужи и жены, яко и кони вискают и ржут и скверну деют. И ныне да останутся того”. От **двоеверия** началось на Руси и пьянство: языческое пиршество как бы расчленяется на дозволенную и недозволенную части — три чаши выпить можно, а вот

уже седьмая чаша — “Богонеприимна, Духа святого оскорбительна, ангел отгонительна, бес возвеселительна”. Вот так-то, мой друг!..

Как бы хотелось выпить с тобой хотя бы только три дозволенные христианину чаши! Но вот завтра пойду “к навьям” в баню, смою грехи и приму с друзьями “ангелоотгонительную чашу”...

Мы и теперь остаемся **двоеверцами** — будучи язычниками, пытаемся быть христианами, и оттого у нас и сейчас так много подлинных мучеников православной веры, которых рождает почва, дышащая неустоявшимся, не вошедшим в национальную плоть христианством. Да и согласишься сам — ну, какие мы христиане, если по-настоящему сохранили в своей жизни из всех праздников одну только масленицу? Традиционные русские блины стали даже в некотором смысле одним из наших национальных символов, наряду с тройкой, икрой и ракетой...

Символов хватает, а сам русский характер решительно ускользает от определения, и вот именно это, по-моему, и есть его главное определение. Косность и легкость отказа от вчера выбранного — одно из самых удивительных наших свойств: двухтысячелетнее язычество как-то легко уживается с бесконечной сменой вер. Однако чур, молчу, а то опять въеду черт знает куда...

Прощай — до завтра...

#### Письмо пятое

Вот видишь, и вправду — “завтра не наше, а божье”... Пишу тебе спустя полтора месяца, осел снег, на неубранных тротуарах уже пыль и сухой мусор, но еще холодно и из канализационных решеток столбом вырывается теплый пар. Непривлекательна сейчас весна в Москве — слишком угрюмы стали лица, скуднее одежда, грязнее улицы.

А главное — у нас все жесточе расправляются с ...нет, не думай, я не состою в Синем кресте, я не о собаках... Я — о времени. Не приходило ли тебе в голову, что наше выражение “убить время” содержит в себе, как теперь модно говорить, “экзистенциальный смысл” нашего русского бытия? У нас слишком много пространст-

ва и поэтому на **время** нам наплевать — и убить можно... Мы и убиваем его — в очередях, безропотных и молчаливых, в бюрократических волокитах, бессмысленных и тупых, построенных только на убийстве времени.

Мы невежественны, покорны и косны. Мы не доросли не только до образования, но даже до настоящей цивилизации. У нас есть электрификация всей страны, но нет канализации во всей стране. А без цивилизации нет и не может быть образования, а следовательно, и культуры. Без цивилизации у нас не образованщина, а всеобуч. Итак, да здравствует цивилизация всей страны! Долой жилища Рюрика! Да здравствует канализация! Долой русский аскетизм, долой языческое метание "в воду"!

Мы не знаем причин нашей косности — то ли чудовищное иго татар приучило русский народ к лени, беззаботности и пьянству, то ли татарское иго упало на нас по этой причине?

Мы любим вспоминать маленький городок Козельск, который сопротивлялся орде Батыя почти шесть недель. Но почему же другие русские города не оказали такого же отчаянного сопротивления? Почему все русские князья предали друг друга? Почему не помогли все сразу Рязани, дождались ее гибели, а потом были взяты и сожжены по одиночке — от Москвы до Владимира? И вот тебе отвратительный исторический парадокс — издевка, рязанская насмешка: предательство рязанского князя Олега спустя полтора года — во время Куликовского сражения изменил Донскому, помогал Мамаю, после смерти Мамай помогал Тохтамышу, через два года после сражения на Дону сжегшего Москву дотла.

Мы не любим вспоминать нашествие Тохтамыша. И поделом: оно позорно для русского самосознания. Еще, можно сказать, башмаков не износили после возвращения с Непрядвы, а уж все русские князья опять перессорились, и когда Тохтамыш подошел к Москве, Дмитрий Донской бежал из города в Кострому. Собирайте полки... Какие?

Москвичи бешено сопротивлялись три дня, а потом поверили клятве на кресте двух нижегородских князей — Василия и Семена Дмитриевичей, пришедших вместе с татарами, что они-де вас не тронут... (это после ста пятидесяти лет ига!) и впустили татар в город.

Ох, уж эти мне клятвы на кресте! На Руси они всегда так мало стоили, — от двоеверия, вероятно...

Наше православие все как-то не могло сжиться с нашей языческой распущенностью, так и не вошло в нашу плоть, не просочилось в национальную лимфу. Православие мы получили не как судьбу выстраданную — своей кровью, слезами. У нас у самого начала — непростительная ширь выбора, недопустимая свобода разглядывания: брать — не брать, жениться — не жениться. Эта проклятая свобода — хочу беру, хочу не беру — роковым образом повлияла на наш национальный характер: я говорю о принятии православия на Руси. Помнишь эту живописную, почти былинную картину, как Святой Владимир выбирал для Руси веру! Сначала пришли мусульмане, и их рай с обольстительными гуриями среди фонтанов понравился сладострастнику Владимиру, имевшему несколько сот наложниц, но запрещение пить крепкие напитки показалось ему невозможным для русского человека; тогда-то Владимир и произнес свое знаменитое: "Веселие Руси есть питье". Потом послы немецких папистов говорили о наличии невидимого Бога, но речи их показались невыносимо скучны любителю языческих пиров и забав Владимиру. Потом пришли хазарские иудеи, которых Владимир спросил, где их отечество, и когда те ответили, что Бог разгневался на их праотцев и расточил их по чужим странам, Владимир не стал слушать дальнейших объяснений: "Отвергнутые Богом не должны учить других. Или хотите, чтобы и мы лишились своего отечества?" Наконец, был выслушан философ-грек, который говорил о картине Страшного суда и совершенно заворожил его князя.

Вот это разглядывание вер, примеривание их к себе, а потом фантастическая способность с нечеловеческой последовательностью воплощать их в свою жизнь наперекор ей, наперекор себе — пожалуй, одна из главных русских особенностей. Если выбранные башмаки не станут налезать на наши ноги, то мы не только пятки себеотрежем, как злые сестры Золушки, которые хотели стать невестами принца, — нет, мы ноги себе вырвем, — и не для того, чтобы получить королевство, а чтобы расплющив себя, как листовое золото, пластично облепить облюбованную идею, слиться с ней совершенно. И при этом — вот что мерзко! — чаще всего совершенно бескорыстно. Это наше бескорыстие — причина многих наших национальных бед, именно оно позволяет нам постоянно доходить до крайностей скудости нашего национального существования. Наш проклятый аскетизм — сколько он нам принес зла! Нам будто всегда стыдно признаться в том, что мы голодны,

босы и раздеты, и мы всегда вспоминаем худшее — “лишь бы не было войны!” У нас считается неприличным говорить, что мы получаем нищенские зарплаты — “бывает хуже”! А уж бороться за повышение зарплаты — фи! какой стыд! Нормальная жизнь у нас считается мещанством, и наша печать неустанно насаждает идеалы “грубого коммунизма”.

Прощай, все это очень горько, кто водку пьет, а я копаюсь, как у нас любят говорить, в пыли, в падали, в навозе, на помойках истории. И скепсис меня одолел. Кто-то сказал, что в России нужно жить долго, чтобы что-то увидеть. Попробуй — поживи... Увижу ли тебя когда-нибудь?

#### Письмо шестое

Я ведь давал тебе и себе слово не впадать в полемический запал, не опускаться до “голословных” восклицаний, но что такое история, как не “голословие”? Один неглупый ум (ведь дурачких-то сколько!), притом историк, заметь! — сказал, что историческая эволюция видов сознания совершается не путем полной смены, а путем **наслаивания** нового на старое. Поэтому-то в народе и сохраняются следы всех прежних видов сознания, остатки всех прежних эпох.

Смешно, конечно, думать, будто наша теперешняя жизнь — только результат 1917 года. Наша современность подобна сказочному бобу, который достал до неба: если ее повернуть вниз, то по этому же бобу мы соскользнем вниз, далеко, далеко вглубь... Так вот, в этой “бобовой” глубине мне примерещилась слишком высокая плата, которую мы когда-то заплатили за православие. Первый наш шаг в историю сделал Святой Владимир, а второй — Александр Невский, этот шаг доньше прорастает в нашу судьбу. Когда татары захватили Русь, Западная Европа, уже пострадавшая от татарских набегов, была чрезвычайно обеспокоена таким опасным соседством, и римский папа предложил поднять общеевропейское сопротивление татарам. И тогда Александр, в ту пору великий князь, отказался вступить с посланцами папы в переговоры. Охраняя чистоту русского православия, он сурово ответил папским легатам: “От Адама и до потопа, от потопа до разделения язык... от начала царствия Соломона до Августа, до Рождества Христова... и до царства Константинова, и до первого собора

и до седмаго — си вся добро сведаем, а от вас учения не принимаем”.

Папские посланцы “возвратишася восвояси”. А это “от вас учения не принимаем” на семьсот лет стало нашим национальным гимном... Куда уйти от того, что тот же Александр Невский все силы положил на то, чтобы сломить сопротивление русских, заставить их платить дань Орде?! Когда, уже после установления ханской власти над русскими городами, во многих из них произошли восстания, — во Владимире, Суздале, Ярославле, Переяславле, — именно Невский безжалостно их подавил. Не пощадил он при этом и собственного сына Василия, который княжил в Новгороде и не хотел туда пускать татарских “численников”, считавших русские головы и по их количеству вычислявших дань. Александр выгнал сына, а новгородцев за сопротивление татарам жестоко наказал: “овому носа урезаша, а иному очи вынимаеша”. Так Невский сначала спас Новгород от “врагов” с Запада, чтобы потом привести врагов с Востока. Брат Александра Андрей также пытался поднять антитатарское восстание, но Невский привел на брата орду хана Неврюя. Пусть почитают нашу историю любители ее идеализации, которые теперь склонны давать русским такого рода определения: “Русский — это православный прежде всего”...

Кстати, о предательстве: отец Невского Ярослав стал первым великим князем, получив власть из татарских рук. Кажется, это была плата за то, что он не пришел к своему брату Георгию на Сить. Ох уже это стояние на Сити! Кровь и сейчас закипает в жилах, когда вспомнишь это бессмысленное топтание в глухих лесах целым войском в течение месяца, в неподвижном ожидании судьбы, в малодушии и отчаянии, в нерешительности бездействия! Бросив на произвол судьбы свой Владимир, князь Георгий убежал а далекие верховья рек, чтобы собрать общерусское войско. Но в свое время Георгий не помог рязанскому князю, когда тот просил помощи, а теперь сам пил смертную чашу отмищения: после взятия Владимира, Суздаля и иных городов (которые татары поджигали **человеческим расплавленным жиром**), они уничтожили и войско Георгия. Православная же церковь причислила малодушного князя к лику святых.

Да простит мне Господь мои упреки!

Это стояние на Сити было первым русским **стоянием**, которое повторилось потом на Угре, через сто лет после Куликовской

битвы, когда русские снова выжидали судьбы и молились, стоя против врага с оружием и в боевых доспехах.

До сих пор гадают о поведении декабристов на Сенатской площади: почему они, выиграв время, имея людей, оставались в бездействии, пока не были арестованы? Сейчас модны самые разные гипотезы, а я тебе скажу просто: это все "русское стояние" — на Сити, на Угре, на Сенатской площади. Фатализм в нашей лимфе, яд православия разъедает в нас самую способность быть активным и действовать...

Куликовская битва, Бородинская, Сталинградская — все у нас свертывается только тогда, когда отступать уже поздно:

И умереть мы обещали...

Да зачем же доводить до того, чтобы умирать?! Почему мы всегда должны сначала долго, долго мучиться, а уж потом упереться, как Илья Муромец, с места не сойти?..

А потом является наше православное смирение — всегда после того, как мы окажемся неспособны к действию, к борьбе — и больше всего из-за того, что оказываемся неспособны к объединению друг с другом. Вечно у нас брат идет на брата, отец на сына (даже в былинах Илья Муромец убивает своего сына, как потом убьют своих сыновей Иван Грозный и Петр Первый), сын на отца...

Возвращаясь с Калки, первого трагического нашего поражения из-за неспособности объединиться, уцелевшие русские князья решили замолить свои грехи и приняли перед смертью монашескую схиму. С той поры этот обычай на многие века определил предсмертный ритуал монашеского пострижения всех русских князей. А может быть, стоило бы меньше молиться, а больше помогать друг другу?

Нет, нет, я не кощунствую, не упрекай меня безвинно. Но то, что жители Владимира молились о своих грехах вместо того, чтобы сражаться с татарами, не моя выдумка. Не веришь? Изволь. Это пишет Щербатов о взятии татарами Владимира: "Осажденные россияне вместо того, чтобы вылазками сопротивляться татарам, упряжались в беспрестанной молитве, якобы ожидали себе свыше чрез естественной помощи... Чудное действие отчаяния, которое вместо того, чтоб произвести уже презрение к той жизни, которую не могут сохранить, и тем к славнейшему сопротивлению побудить, во Владимирцах оно напротив того произвело такое презрение, что они почти и не тщались сопротивляться злоб-

ному неприятелю и единственно к мученическим подвигам себя изготавляли, якобы закон Христианский не равно повелевал защищать свое отечество и без крайней нужды к смерти себя не подвергать. Увидя татар, изготавляющихся к приступу, знатнейшие толпами побежали в церковь, и там как князи и княгини, так и прочие именитейшие люди постригались, а подлый народ, видя в знатнейших толикую отчаянность, более в робость и в ослабление приходил. Татары же пользуясь толиким небрежением Россиян... через стены в новый град вошли, и овладев оным, его сожгли, не давая пощады жителям..."

Разбирая причины победы татар, Щербатов в числе главнейших отмечает, что "дух неумеренной набожности вселился в сердца князей Российских. Монахи же и духовный чин сии мысли паче утверждали... можно сказать, твердость и великодушие отвсюду прогнали, а на место того монашеский дух вселился. Неудивительно есть, что татары толь легко могли Россию покорить".

Не с той ли поры живет в национальной нашей крови какое-то отстранение, равнодушие к своей собственной религии — православию? То равнодушие, которое и позволило всем будущим реформаторам всегда начинать свои реформы с церкви?

А в общем, как сказал Гизо, "история — это сама нация в течение веков". Но мы всегда сами лишали себя истории. Лишали непреодоленным прошлым. Не могли преодолеть татар, слишком долго позволив им, врагам, жить с нами общей жизнью. Позволили без сопротивления надеть на себя ярмо крепостничества — уже в конце XVI века, когда Европа расцветала в сиянии Возрождения. Не преодолели крепостничество и до сих пор, до самого последнего времени безжалостно не считаясь ни с человеческими, ни с экономическими интересами сельского населения — и ответ нам в почти погубленном, неспособном к производству нужных продуктов сельском хозяйстве. Не преодолели мы и сталинизм. А ведь только преодоление прошлого в истории способно давать живоносные силы для всего национального организма.

Не находишь ли ты, что в свете всего того прошлого, о котором я сегодня так разухабился, смешны надежды наших современных религиозников увидеть в православии тот Архимедов рычаг, которым собираются перевернуть Россию?

А знаешь, что меня бесит до ярости? То, что в Козельске ни цари, ни мы не поставили хорошего памятника. Впрочем, с моей

стороны очень глупо беситься по такому пустому и к моей жизни никак не относящемуся поводу.

Пока писал, выкурил две пачки сигарет. Во-первых, спать буду плохо, во-вторых, с сигаретами тоже плохо... А с чем хорошо?

#### Письмо седьмое

Дорогой мой! Хорошо, что я не знаю и не слышу, как ты ругаешься, когда читаешь мои письма. Даже я сам себе опротивел, а уж как надоел тебе, и представить себе трудно. Нужно заткнуть фонтан, как предлагал Козьма Прутков.

Сегодня ночью почти не спал, ночной разум создавал чудовища, которые ушли только утром, испугавшись запаха свежесваренного кофе. Как бес корчится от крестного знамения, так ночные видения не выносят запаха кофе, возвращающего нам душевную бодрость и радость движения. Но вышел на улицу, прости за прозаизм, в молочную, и опять почувствовал под ногами колебание почвы Китежа. Опускаемся, опускаемся — и молчим. О, эта отвратительная русская покорность, это аскетическое сознание безропотности, возможность дойти до нечеловеческих пределов самоотвержения и жертвы. Из самоотречения мы всегда переходим за нулевую отметку и живем по минусовой шкале.

Нам нужно очнуться от своего смирения, страстно возжелать человеческой жизни, не вспоминая, "как было в войну, когда и хлеба не было". Наконец, нам нужно страстно захотеть разбогатеть. Мы гнием и погибаем от бедности, а бедность наша — от многовековой привычки обходиться минимумом.

Русский вольнодумец XVI века Федор Карпов считал **долготерпение** причиной всех русских бед: "Дело народов в городах и царствах погибает от продолжительного терпения, долготерпение в людях без правды и законы разрушает, общественное благо и дело народное низводит ни во что, вводит в царствие злые нравы".

Петр Первый произволом истинного самодержца пытался установить в России государственные законы. В указе от 17 апреля 1722 года он писал: "Понеже ничто так к управлению государства нужно есть, как **крепкое хранение прав гражданских**, понеже всеу законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего в свете так нет, как у нас бы-

ло, а отчасти и есть, и зело тщатся всякие мины чинить под фортицией правды”.

Прошло 250 лет, и революции минули, а русские проблемы остались те же, все-то мы в карты играем. И прав гражданских не нажили по-настоящему.

Но никто нас не может спасти, кроме самих себя! Просвещения, свободы, богатства мы должны непременно достигнуть, несмотря на то, что мы, русские, не только ленивы и не любопытны, по словам Пушкина, но глубоко равнодушны к культуре, не стремимся к цивилизации, нас поглотили наши пространства, заставив убивать наше собственное время.

Мы опять перед выбором веры, как у Святого Владимира, перед необходимостью действовать, как у Петра Великого, наконец, перед необходимостью освободиться от старого и обветшавшего, как у Ленина. А значит, все еще у нас впереди. Если не погибнем.

Святой князь Владимир, Петр Великий и Ленин настойчиво прорубали в наших рюриковских избах окошки на Запад. Пришло время и нам туда обернуться, пришло время кончить нам отмечать **СВОЕ** Рождество, **СВОЮ** Пасху. Не пора ли нам объединить свои церкви и зажечь по европейскому календарю? Наше православие, исторически одряхлевшее, лишенное жизненных соков реформации, которая так укрепила европейскую церковь, нуждается в обновлении, в притоке бодрости и сил. Может быть, наша все еще фанатическая кровь и мистическая чуткость органично вольются в расчисленность рационального устройства церкви Святого Петра. Только в единении с европейскими народами, а не в изоляции от них лежит наш путь.

**А потому я с ... Кампанеллой!** — как тебе уже об этом заявлял. Мало кто знает, что он, как и многие утописты, интересовался Россией. В 1618 году он написал послание московскому царю, где предлагал сблизить православную и католическую церкви, заключить унию между ними. Обращаясь к царю, Кампанелла писал: “Земли твои так пространны, что ты превосходишь протяженностью их (но не по плодородию) всех европейских государств. У тебя мрачные леса, огромные замерзающие зимой реки, пасмурная страна; земля ее частью обработана, частью пустынна. Если ты обрабатываешь все эти огромные пространства, то не будет никого в мире, кто смог бы тебя превзойти... А как может быть возделана земля, если люди не любят культуру?.. Рассказывают

историки и те, кто от тебя приезжают, что подданные твои невежественны, а ты поддерживаешь их невежество, царящее в их душах, чтобы ты один казался в своем царстве мудрым и достойным.

Тиранам свойственно желать, чтобы их подданные были невежественны, тогда их можно, как волов, за нос, вести в любую сторону; такие подданные низки душой, их легко победить в войне, потому что они принижены рабством.

На большинство стоит опираться лишь тогда, когда оно представляет собой лучшую часть общества”.

Прощай, не знаю, когда теперь смогу тебе написать. В моей жизни это непозволительная роскошь — писать по ночам такие длинные тетрадки. Ведь утром после таких ночей так трудно вставать... А все же я выболтался — выписался. Разговором-то это все-таки не назовешь. Однако роптать грешно. Да будет лучше.

март 1981 год

*Рукопись прибыла по каналам Самиздата и публикуется без ведома автора.*

Единственный на Западе  
русский литературный ежемесячник  
“ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР”

**ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА. РЕЛИГИЯ.  
ВОСПОМИНАНИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ.  
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

Выходит на 24—28 страницах большого формата  
**ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:** для США — 12 долл. в год

для других стран — 19 долл. в год  
Заказы и чеки принимаются по адресу:

Literary Courier, 150 5th Ave, Suite 1104  
New York, N. Y. 10011, USA

*Петр Вайль*  
*и*  
*Александр Генис*

**ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ**  
(главы из книги) \*

**Вещи**

Карел Чапек — один из малых больших писателей. Он тихо и комфортабельно прожил жизнь в маленькой Чехословакии в те недолгие годы, когда она была независимой республикой. Наверное, жизнь там была невеселой — европейский лоскуток, зажатый между Россией и Германией. Но то ли обаяние швейковской Чехии, то ли счастливое пристрастие чешского языка к уменьшительным суффиксам — все эти Франтишки, которые едят шпекачки, то ли еще какая причина, кроющаяся в нашей любви к миру малому и безопасному, сделали эту страну европейским заповедником уюта. Карел Чапек был великим певцом уютных вещей. Не красивых, не значительных, а уютных. Как домашние тапочки, коллекция марок или котенок. Он написал волнующую эпическую поэму о своем огороде, детективную повесть о собрании кактусов, увлекательную историю о фотографическом аппарате, к названию которого тогда еще прибавлялось "для моментальных снимков".

Наверное, Чапек был не первым поэтом вещей. Ведь могли же масоны опозитизировать мастерок каменщика, а драматические таланты воспевать шапку Мономаха. Но вряд ли кому приходило в голову восхищаться будильником или потертым чемоданом. Чапек противопоставил миру значительного и большого, миру, в котором гремящие молоты куют мечи и орала, маленькую и незаметную вселенную. Он открыл возможность натюрмортов, состоящих из поистине мертвой природы — наперстка, ножниц, стакана. Когда-то голландским живописцам это принесло славу...

Вся эта "чапековская" интерлюдия нужна лишь для того, чтобы доказать и так бесспорный тезис о важности мелочей. Человек в мире вещей так же известен, как заяц в лесу. И тот и другой обра-

---

\* Окончание. Начало см. в № 29.

зуют экологическое единство, в основе которого лежат законы природы и сложившийся этикет. Поэтому вполне понятно, что наши вещи говорят о нас больше, чем мы сами. Их обилие — свидетельство мещанства. Отсутствие — характеризует хозяина как аскета или алкоголика. (Часто это совпадает.)

Вещи — поэзия и проза нашего бытия. Они опьяняют ароматами натуральной кожи и ослепляют блеском полировки. Они вносили в нашу жизнь экзотическую роскошь заграничных этикеток. Приводили в эстетическое содрогание хрустальным отблеском сервизов. Вызывали черную зависть и глухую ненависть.

Мораль советского общества придавала вещам особый привкус идеологического разврата. Иметь или не иметь — равно означало вступление в конфликт с властями. Советские люди издавна делились на узколобых мещан, покрывавших полы трехслойными коврами, на пижонов-фарцовщиков, публично осмеянных за узкоширокие брюки, и на диссидентов-бессребренников, унижающих общество антисанитарным убожеством своих квартир.

Любой предмет эпоха способна украсить смыслом, превратив его в свой символ. Стоит только представить себе сундук, как в памяти всплывают купцы из пьес Островского. Кружева ассоциируются с Францией последних Людовиков. Камин — с уютными диккенсовскими временами. В России вещи говорят значительно больше. Они стали идеологическим жестом, охотно заменяющим свободную печать и парламент.

Начнем с квартиры. Она служит в первую очередь убежищем от разбушевавшейся социальной стихии. Поэтому ее обстановка — идеологическое достояние хозяина, противостоящее конформизму общества. У себя дома человек — как в бомбоубежище — спрятан от давящей силы коллективного упрощения, поэтому вещи, собранные здесь — вызов обществу. Все это не мешает всем интеллигентным домам быть до неразличимости похожими.

Естественным и главным предметом обстановки являются книги. Обычно до тысячи штук. Чтобы разместить подобную библиотеку в малометражной квартире, хозяевам приходится отказаться от прочих удобств своего жилья. Кухня, прихожая, ванная в той или иной степени наполнены книгами. Но это не значит, что они не лежат на подоконниках, радиаторах или кресле-качалке. Кроме того, книги используют в качестве ножки дивана, подставки под сковороду и опоры для телевизора.

Богатую интеллигентную квартиру от бедной отличает не подбор библиотеки и не размер ее, а количество книжных полок.

Полки не покупают, а строят. Специальные умельцы-столяры снабжают их хитроумными подвесными устройствами, раздвижными стеклами и отделениями для укладки крупноформатных альбомов по искусству. Люди попроще мастерят полки из краденых на стройке досок, уложенных на украденных там же кирпичах. В особых случаях книги укладывают штабелями таким образом, чтобы получился правильный куб, грань которого равна длине стены. Во всяком случае, один наш знакомый — обладатель двухкомнатной квартиры и 18-тысячной библиотеки — устроился именно так. В доме у него оставалось настолько мало места, что, будучи любителем животных, он позволил себе держать только дрессированного угря, жившего в узкой дренажной трубе.

Конечно, в условиях книжного голода личная библиотека — надежный вклад обесценившихся денег. Но собирают книги все же не для этого. Квартира, густо заставленная томами, служит паролем, свидетельствующим об интеллигентности хозяина, независимости его образа жизни и идеологической раскованности. Названиями книг можно обмениваться как новостями. В ситуации, лишенной реальной политической жизни, выход новой книги легко заменяет сенсации западного мира. При этом нельзя сказать, что книг не читают — их, во всяком случае, просматривают. Но все же главное — обладание престижным изданием (вроде серии "Литературные памятники"), сам факт сосуществования в одной квартире с книгами, в той интеллектуальной ауре, которая нисходит на обладателя трехтомника Монтеня или собрания сочинений Хлебникова.

Следующие по значимости вещи отнюдь не самые необходимые и не самые удобные. Это широкий диван, максимально приближающийся к неведомой, но страстно желанной турецкой тахте. Диван должен быть низким, чтобы с него удобно было пить кофе, сервированный прямо на полу. Больше его пить негде, потому что в интеллигентной квартире нет места традиционному, то есть большому и устойчивому столу. Столики бывают только двух видов — журнальные и коктейльные. Последний, давно освоенный местной промышленностью, выпускается на колесиках и предназначен исключительно для смешивания коктейлей. Для этой же цели в каждом доме оборудуется бар, представляющий собой ящик с подсветкой. В бар ставят любые бутылки с непривычными эти-

кетками. Хороший тон требует, чтобы бутылки всегда были полупустыми. Поэтому гости пьют принесенную с собой водку. А весь прочий антураж должен создавать видимую роскошь западного образа жизни. В этом смысле початая бутылка скверного венгерского рома, запертого в зазеркаленный ящик со скрытой подсветкой, — памятный знак увлечения хозяина квартиры Ремарком, а не отражение его алкогольных пристрастий.

Огромное значение имеет освещение, которое ни в коем случае не должно быть ярким. Световая арматура способна нести громадные социальные функции. Начиная с тридцатых годов символом мещанства служил цветастый абажур. Оттепель пятидесятых обозначилась насмешками над хрустальными люстрами и широким освоением пришедшего с Запада торшера. Следующее поколение открыло для себя свечи. Парафиновое безумие, охватившее интеллигенцию, вызвало к жизни кустарный промысел. В каждой квартире лили свечи, подкрашенные косметическим гримом, и мастерили подсвечники из металлического лома. Ответом промышленности на зов потребителя послужил выпуск свечей в барочном стиле, обогащенных декором из негорящих предметов. Цена такого изделия доходила до пятидесяти рублей, что, естественно, препятствовало его сжиганию. Покупные свечи-сувениры кочевали из одного дома в другой в качестве подарков на день рождения. Свечи собственного изготовления жгли уже не жалея. Смысл полутемного интерьера заключался не только в создании камерной атмосферы, противопоставленной ярким социалистическим будням. Скучный свет должен был создавать интимный дружеский настрой, располагающий к взаимной исповеди — обязательному атрибуту любой вечеринки. Интеллигентная квартира обязана была гарантировать надрывную искренность как гостей, так и хозяев. Свечи тут были незаменимы.

Из электротехнических приборов самым важным был магнитофон. Это устройство приобщало к почти запретному миру бардов — Высоцкому, Окуджаве, Галичу, Клячкину, Кукину. При этом дух запретности продуцировался не столько содержанием песен, сколько способом их тиражирования. Распространение несанкционированных записей — акустический вариант самиздата — был тем видом неофициальной массовой культуры, который, не грозя тяжелыми последствиями, давал ощущение свободного сотворчества. Барды с их разговорной интонацией, фельетонно-

лирической направленностью и необъятной тематикой легко становились членами компании, участниками беседы.

Завершали убранство квартиры многочисленные репродукции. Подбор их отражал последовательную смену стилей. Сначала — портрет Хемингуэя и импрессионисты, потом Солженицын (периодически скрывааемый от посторонних глаз) и иконы. Наконец, русский лубок и деревянные ложки.

Такое жилье строилось и собиралось десятилетиями. На его устройство уходили все деньги и силы семьи. Зато в нем люди чувствовали себя не только уютно и безопасно, но и счастливо. Квартира становилась ареалом свободы, достаточным для нормального культурного функционирования. Здесь частная жизнь была полярной противоположностью служебной.

Одежда для жизни советского человека значила несравненно меньше. Идеологические функции, навязанные сатирическими журналами и комсомолом, несли на себе малосущественные особенности моды. Длина брюк, количество пуговиц на пиджаке, ширина галстука. И все же некоторые предметы туалета превращались в знак фронды и избранности. Например, тонкий свитер с высоким воротником, известный в Москве как "водолазка", а в провинции под названием "битловка". Обладание таким предметом означало не только приобщение к моде, но и переход в другую социальную сферу, определяемую некоторым нонконформизмом и тяготением к западным образцам. В какой-то степени модный предмет становится отличительным знаком, паролем, по которому один "неквадратный" член общества узнает другого. Поэтому нет ничего странного в том, что цена — материальная и метафизическая — такой вещи могла быть крайне высока. Мы лично знали девушку, расставшуюся с невинностью в обмен на "битловку".

Нелепость или незначительность элемента одежды, вызвавшего такие сильные чувства, не должна удивлять. Ведь в качестве символа он самодостаточен, как орденская планка или университетский значок.

За два десятилетия подобных идеологически значимых предметов моды сменилось множество. Туфли на толстой подошве, узкие короткие брюки, плащи из ткани "болонья", металлизированные галстуки с фиксированным узлом, рубашки из ситца в цветочек, складные зонтики, кожаные пиджаки, темные очки и, конечно, джинсы.

Но несомненно самым значительным, самым экстремальным определителем социального положения человека была прическа. Длинные волосы у мужчины означали решительный жест — это уже не фронда, а оппозиция. Комсомольский работник еще может надеть джинсы, но, отпустив волосы, он ставит крест на своей карьере.

Советское общество боролось с длинными волосами куда более последовательно и настойчиво, чем с любыми другими видами идеологического разложения. При этом мало что объединяло власть и народ в таком единодушном порыве, как эта борьба. Длинноволосого могли высадить из поезда, выгнать из школы, избить в милиции. Общее мнение по поводу прически выражало распространенное пожелание "всех волосатых расстрелять". Длинные волосы, став элементом массовой культуры, сохранили свое идеологическое значение не только как барьер между поколениями, но и как социальный протест против официального и общенародного стереотипа. Это был самый легкий, но не самый безболезненный способ выделиться, исключить себя — конечно, временно — из системы.

Проблема вечного дефицита, с которой связана еда в Советском Союзе, создает впечатление, что главным было эту еду достать. На самом же деле пища несла в себе такие сложные социальные функции, какие могла создать лишь крайне утонченная и разветвленная система культурно-бытовой стратификации.

Традиционная для советского общества категорическая ориентация на частную жизнь породила ритуал застолья, в котором тому или иному блюду могут придаваться довольно сложные идеологические оттенки. Например, фаршированная рыба на столе ответственного работника говорит не только о его еврейских корнях, но и о достаточной решительности, чтобы эти корни обнародовать. Такая, казалось бы, незначительная дилемма — пить чай или кофе — делит страну не только на географические регионы (москвичи — чай, ленинградцы — кофе), но и на лагеря славянофилов и западников.

Неразрывная связь еды и выпивки породила целый ряд эвфемизмов. Селедка, плавленый сырок, вобла означают не продукты питания, а целый комплекс времяпрепровождения. Причем в первом случае время проводят с водкой, во втором — с крепленым вином, а в третьем — с пивом.

По тому, что стоит на столе, легко определить социальную

принадлежность хозяина и даже его отношения с режимом. Например, студень и соленые грибы свидетельствуют о склонности к русскому национализму и опрощению, сопровождаемой историческим скепсисом. Жареная индейка и черная икра говорят о жизнерадостно-потребительском отношении к жизни, которое наверняка сочетается с незатейливым довольством окружающим. Салат "жаки", состоящий из сыра и груш, подают в домах, исповедующих европейские убеждения и зараженных недоверием к массам.

Даже такой антикулинарный процесс, как голодание, содержит в себе идеологический оттенок. Лечебное голодание (не говоря уже о религиозных постах) означает и недоверие к государственной медицине, и некоторую мистическую ориентацию, противоречащую материалистической философии.

Смещение критериев в советской жизни медленно, но верно влекло интеллигенцию к накопительству. Если в начале 60-х существенно было вещей не иметь, а имеющиеся презирать, то в 70-е вещи стали означать достигнутую независимость и приобщение к экономической престижности. Личный автомобиль — это свобода передвижения, романтика забытой глубинки, знак осуществленной имущественной потенции. Дача значит и возвращение к земле, и нэповское торжество частной собственности над государственными палаточными городками, и даже возврат к чеховскому быту — с самоварами, домашним вареньем, долгими беседами.

Вообще, роскошь обособила определенную общественную группу, подняв ее над проблемами народа и власти. Сигареты "Кент", виски "Белая лошадь", дубленка и "Фольксваген" как бы создавали карликовое государство, размером в несколько московских кварталов. Внутри этой страны царил социальный мир, обеспеченный высокой зарплатой и обилием самиздата.

Повсюду деньги — свободный эквивалент вещей. Их прообраз, экстракт, а часто суррогат. В России деньги и вещи разделены весьма существенной преградой. И то, и другое, конечно, связано между собой, но странной и далеко не однозначной связью. Дело в том, что в России важна не просто вещь, а идеологически значимая вещь. Не книга, а том Бердяева, не часы, а "Сейко", не треска, а консервы "Печень трески"...

В СССР вещи становятся коллекционным раритетом, каждый из которых нужно специально подобрать, используя недюжин-

ные психологические способности и сложные социальные отношения. Поэтому любое имущество следует рассматривать как филателистическое собрание. Все здесь имеет свою историю и свою, отличную от денежной, стоимость.

В результате элементарный товарно-денежный обмен представляется нелепым архаизмом, обесцененным отсутствием идеологического оттенка. Жизнь, наполненная погоней за вещами, становится разновидностью хобби — увлекательного, утомительного, всеобщего.

### Труд

В Советском Союзе существует довольно четкое убеждение, что работать должна лошадь — у нее четыре ноги. В значительной степени эта расхожая фраза правильно передает сложившиеся в стране трудовые отношения.

Труд в России не воспринимается обреченно. Адамово проклятие насчет хлеба и пота дошло до этой страны в несколько смягченном виде. Работа, конечно, необходимость, но должно и можно отодвинуть эту необходимость на второй план. Сместить акценты с общественного на личное. Превратить службу в филиал любви и дружбы. Нормальным местом работы считается в России не то, где больше платят, а то, на котором можно вязать, писать письма, играть в преферанс, домино, шахматы, волейбол и морской бой. А также выпивать, закусывать, кататься на лыжах, лодке, велосипеде. Самиздат, например, именно потому так широко распространился в СССР, что часто производился в рабочее время.

Трюизм, согласно которому труд есть источник существования, никоим образом не является банальностью в России. Деньги не могут быть универсальным эквивалентом труда хотя бы потому, что их распределение, стоимость и применение далеко не равнозначны. Так, зарплата уборщицы, которую она может получать в трех местах, не только выше жалованья учительницы, но и существенно дополняется блатом. Та же учительница, работающая в сельской школе, лишена развлечений своей городской коллеги, зато пользуется подношениями учеников.

Кроме того, в России нет огромных имущественных ножниц между представителями разных профессий. По-настоящему большие деньги получают лишь высокопоставленные чиновники и работники сферы обслуживания, компенсирующие шаткость поло-

жения отчаянным воровством. Остальное население зарабатывает примерно одни и те же деньги и разнообразит свою экономическую ситуацию лишь специфическими льготами, которые дает то или иное предприятие.

Все это приводит к тому, что труд в России связан с деньгами далеко не напрямую. Он обогащен многочисленными идеологическими установками, среди которых самые важные — творчество и престижность.

Иллюзия “интересной работы” — один из самых мощных стимулов общественной жизни России. Профессия с красивым названием — физик, актер, художник, геолог — наполняет все существование молодого человека нарядной мечтой. Приобщение к интеллигенции — экстремальный диктат советской жизни. При этом смысл такого приобщения — отнюдь не материальная выгода (скорняком быть куда прибыльней), но исключительно высокая престижность соответственного образа жизни.

Интеллигентная работа — хотя бы по названию — пожалуй, самая важная ценность в иерархии советского человека. Она означает выход в сословие, схожее с дворянским. При этом все сословные предрассудки прошлого давно исчезли. Принципиальность, порядочность, жертвенность, чувство ответственности, ощущение вины — весь этот комплекс дореволюционного интеллигента — стал малопонятным пережитком, вроде геральдики и местничества. Начатки профессиональных знаний и диплом вуза с успехом заменили дорогостоящие старинные украшения. Но гордое имя российского интеллигента все же осталось. И именно ему — скорее названию, чем сущности — мы обязаны недолгим взлетом порядочности в нашей общественной жизни 60-х годов.

Те немногие люди в России, которые благодаря огромной энергии или невероятной удаче добились возможности честно и плодотворно заниматься любимым делом, выглядят не только странно, но и нелояльно. Причем их нелояльность ощущается как сверху, так и снизу. Сверху — потому, что они мало заботятся о карьере. Снизу — потому, что редко пьют и не посещают кино в рабочее время. И обычно ни сверху, ни снизу в покое их не оставляют.

У нас был знакомый пушкинист — один из немногих филологов старого закала. Его докторская диссертация была зарезана Аттестационной комиссией по доносу коллег. Донос не содержал, как было бы проще всего подумать, политических обвинений.

Суть его была проста и даже элементарна: ученый имярек не достоин звания доктора, так как хотел спойть коллег по кафедре, принеся две бутылки шампанского на работу и пытаясь отметить ими защиту диссертации.

Человек, работающий серьезно, вызывает горькую неприязнь сотрудников не из зависти. И уж конечно, не потому, что будит совесть. Он злобно нарушает правила игры, изложенные в знаменитом анекдоте: мы думаем, что они нам платят, а они думают, что мы работаем.

Поэтому труд, особенно носящий название интеллигентного, создает огромную армию идейных борцов за свое свободное время. Если верить доктрине Маркса, согласно которой уровень развития общества определяется количеством досуга, то советское общество, несомненно, самое передовое в мире. И этот непреложный факт оказывает постоянное мировоззренческое воздействие на жизнь человека.

Бремя труда гораздо легче в России, чем на Западе. Здесь не вознаграждается усердие, но и не наказывается праздность. Лень, как питательная среда, порождает плодотворные формы безделья. Теплые товарищеские отношения, коллегиальная спайка, трепетная солидарность — вот что противопоставляет советский человек государству. Ему незачем активно бороться за свои права, потому что он гораздо успешнее борется за них пассивно.

Если конструктор вместо чертежей растит на своем окне помидоры, если бухгалтер вместо отчетов сочиняет коллегам поздравительные стихи, если специалист по таинственной технике безопасности разучивает по средам и пятницам модный танец "липси" и если все они отмечают Восемь марта так, что учреждения выключаются из жизни на три дня до и на три дня после праздника, то никаким анархистам и не снилась более победоносная тактика тотальной войны народа со своим государством. При этом народ вооружен здоровой идеологической концепцией, которая включает в себя закрепленные в конституции права на такой труд, на такой досуг и на такую свободу. Государство же борется с народом при помощи тяжело бессмысленных квазиидеологических протезов, к которым относятся моральный кодекс строителя коммунизма и лозунг "Труд — дело чести".

И все же формы принуждения стесняют натуру советского человека своими бессмысленными ограничениями. Необходимость регулярно приходить на службу, требование отчета о непроделан-

ной работе, обременительная симуляция кипучей деятельности — все это, как эзопова словесность, выработало сложные социальные институты, специфические общественные связи и простое житейское хитроумие. Инженер, проводивший все утро на двухсерийном кинофильме, не соврет начальнику про головную боль. Он расскажет долгую и запутанную историю о домоуправе, которому помогал крыть толем крышу сарая в надежде получить под этой крышей место для своего мопеда. Таким образом, он не только проведет в беседе вторую половину рабочего дня, но и сэкономит больную голову на следующий понедельник.

Однако, как ни распространены подобные формы укрытия человека от труда, все они чреваты определенными последствиями. Достигнув заветной синекюры, человек вынужден за нее держаться. В его жизнь приходит страх за свое место, с такой любовью устроенное и насиженное. Сколько нужно было походов за грибами, совместных посещений бань, именин и шахматных турниров, чтобы сплотился коллектив, вырос и возмужал прирученный начальник, чтобы выработался стройный кодекс безделья! Потерять же все это можно в один миг, противопоставив себя обществу. Для этого достаточно подписать письмо протеста, дать почитать "Чонкина", прийти на проводы к уезжающему в Израиль приятелю...

И вот человек, освобожденный от гнетущего труда, превращается в раба своего сладкого безделья. Одна свобода оказывается ценой другой свободы. Но ценой неэквивалентной. Право на смелый поступок осуществляется практически однажды. И за него надо расплачиваться чуть ли не всю жизнь. Естественно, что желающих рисковать немного.

### Досуг

Разделение времени, отпущенного человеку, на свободное и несвободное само по себе унижает личность. Оно напоминает нам, что труд есть рабство, и антитеза его — досуг. Эволюция семантики этого исконно славянского слова говорит об эфемерности посягательств жизни на человеческую свободу. Этимологический словарь пишет по этому поводу: первоначальное значение слова досуг — то, что можно достать, далее — то, что достигнуто, потом — способность к достижению, и только под конец — время после работы.

Итак, обычная игра со словарем привела к тайным откровениям, заключавшимся в этом коротком слове, которое так любят произносить с неправильным ударением мелкие партийные начальники. В понятии "досуг" открылась романтическая бездна, граничащая с приземленным и прагматичным трудом. В противовес догмам заводского гудка — досуг с его либеральным синонимом "свободное время".

В этом крамольном прилагательном кроется не только напоминание, что человек бывает свободен от обязанностей, но и радостное утверждение, что тогда и только тогда он достигает своей человеческой автономии. И главное — независимости от навязанного ему природой и обществом лозунга: "Кто не работает, тот не ест".

Короче, досуг — это главная и неперемнная цель жизни человека. Его самый существенный аргумент в борьбе с миром за свое право на счастье.

Советский человек, который стремится перестроить общественную жизнь в частную, труд — в отдых, а отдых — в досуг, добился самых очевидных успехов именно в этом направлении. Он превратил досуг в универсальную форму существования, углубив его множеством смыслов, возвысив до идеологического выпада, расширив до размеров жизни. И при этом создал всероссийский, общезначимый и повсеместный вид досуга — пьянство.

Алкоголь и все, что с ним связано, есть плод российской традиции. Плод опасный, ядовитый и непреодолимо заманчивый. Он национален, как сарафан, и плодотворен, как Ренессанс.

Пьянство — излюбленный порок, трагическая гекатомба и судьбоносный символ России. Его оправдывали суровым климатом, широкой натурой и буржуазным наследством. Но ничто так мало не нуждается в оправдании, как пьянство, ибо творческий смысл его ритуала лежит вне медицинско-нравственной экспертизы.

Алкоголь (или, как говорят гораздо чаще, вино, наивно деля его на "красное" — то, что водкой не является, и "белое" — что уже ничем другим быть не может) — объект всенародной и потому демократической любви. Водку проклинают, с ней борются, от нее даже пытаются отказаться, но все это не может изменить горячечно-мистического отношения к опьянению. Как смерть и рождение, как любовь и религия, пьянство окружено эвфемизмами, тайнами и обрядами.

Древние индийцы верили в райский напиток сому, служивший алкоголем богам их пантеона. Русский человек верит в хлебное вино с не меньшим пылом и большими основаниями. В нем он поклоняется загадочному дару перерождения будней в праздник, в нем видит залог освобождения от реализма, атеизма, рабства. В нем — прыжок к мирозиданию и богоискательству.

Алкоголь творит новый тип отвлеченного от приземленности существования. По сути, водка позволяет русскому человеку жить в двух мирах сразу. В одном — неохотно — для тела, в другом — радостно — для души. Раздвоенность на материалистическую и идеалистические сферы настолько решительна и универсальна, что назвать истинным и реальным мир трудовых будней не позволяет элементарная порядочность.

Возможно, именно преодоление этого романтического конфликта между идеалом и жизнью и породило национальное мировоззрение, в свою очередь создавшее один из самых любопытных и опасных феноменов в истории — Россию.

Древняя традиция народного творческого сознания подарила цивилизации драгоценную игрушку — карнавал. Это случилось так давно, что перестала ощущаться вся взрывчатая опасность этого изобретения. Прирученный карнавал — в виде театрализованных шествий и похабных анекдотов — уже не пугает мир своей разрушительной силой. А ведь смысл карнавала был именно в разрушении — сословной иерархии, половых запретов, логических законов.

Легализованное право на дерзость, на безумие, на противоречие как таковое — вот, что примиряло человека с обязанностями размеренной жизни. Карнавал укротили религия, государство, нравственность и этикет. Но — не всегда и не везде. В России, где неволя была самой тяжкой, а надежды самыми туманными, карнавал взял реванш.

Пьянство — тяжелое и умеренное, беспробудное и похмельное, запойное и по случаю — пьянство не знает имущественных границ, лишено карьерных соображений, абсурдно и стихийно. Водка снимает противоречия между властью и народом, между городом и деревней, между мужчиной и женщиной. Алкоголь — это универсальная стихия, компенсирующая насильственную логику жизни. Это тот же карнавал. Та же амбивалентная народная культура, которая смехом и непристойностью восстанавливает единство мира.

Как в настоящем карнавале, в пьянстве важна каждая мелочь, каждая деталь его досконально разработанного ритуала снабжена смысловым жестом и идейным оттенком. От утреннего вождения пива до вечернего поиска открытого киоска, от ерша до коньяка "Отборного", от собутыльника до размера стакана, от нарушающего все причинно-следственные связи тоста "тогда поехали" (когда тогда?) до банкетного застолья, от строгого порядка беседы (тема должна строиться по синусоиде *piano — forte — pianissimo*) до вовлечения постороннего третьим, от смирения просящего до наглости получившего, от братского поцелуя до драки авоськами, от творческого горения до бессмысленного бормотания, от... Впрочем, именно всеобъемлемость иллюзорного мира пьянства и делает его равноправным аналогом мира реального.

Человек — широк. Он не вмещается в рамки любых систем. Поэтому-то и ломает их, создавая парламент и гражданские свободы, занимаясь войной и разбоем, наживая богатства и тратя их. Но общественная деятельность, которая руководила государственным строительством англосаксов, сметала монархии французов и укрепляла национальную идею немцев, в России осталась достоянием идеологических инородцев. Немцев, евреев, большевиков — тех, кто сверху. Патриотическим же ответом на притеснения и несвободу была и есть водка. Как ни прискорбно это для истории, повсеместное пьянство в России заменило социальные институты на личные отношения. Дружба, неразрывно связанная с бутылкой, стала главным достоянием советского человека, его убежищем от государства и коллективной защитой от него.

Этикет, выработанный поколениями, придал водке значение олимпийского факела. Пока бутылка стоит на столе, между врагами заключается перемирие. Поэтому и пьют партийные с беспартийными, начальники с подчиненными, стукачи со своими жертвами. Алкоголь — великий уравнитель. Как французская революция, он декретирует мир, равенство, братство. И это позволяет советскому человеку сжиться с неправдой и насилием, нищетой и бесправием. Более того, ему и не нужно бороться за свои реальные права, так как он легко их получает в иллюзорном мире опьянения. В этой идеалистической утопии развились такие характерные качества, как прекраснодушие и доброжелательность, пассивность и мечтательность, словоохотливость и дружелюбие.

Как бы ни было омерзительно пьянство в своем каждодневном проявлении, нельзя отрешиться от функций и результатов, привне-

сенных им в советскую жизнь. Трудно без ужаса представить себе те апокалипсические формы, которые эта жизнь бы приняла, будь она трезвой.

... Погожий неяркий день. На газете разложен нарезанный огурчик, развернут плавеный сырок, стоит мутноватый стакан граненого стекла. Уже и налита в него на добрую треть водка, уже потираются руки и втягиваются ноздри. Через минут пять-десять раздастся вкусное причмокивание и потечет вначале неспешная, а потом все более увлекательная и возбужденная беседа. Про академика Сахарова, про футбол, про сбор урожая и, конечно, про евреев и женщин. Впереди долгий беззаботный день (с утра выпил — целый день свободен), который вскоре наполнится приключениями: поход в магазин, сдача бутылок, сбор недостающих 30 копеек, еще все впереди. Но этот момент пасторальной идиллии с его сладким уютом, старозаветной простотой и дружеским участием так и останется праздничной и нарядной картинкой. Досуг в его глубинном и метафизическом понимании начался...

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**НОВАЯ КНИГА**

**ПЕТР ВАЙЛЬ И АЛЕКСАНДР ГЕНИС**

**"ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ"**

240 стр.

10 долл.

Книга известных в эмиграции журналистов и критиков представляет собой иронический путеводитель по советской и эмигрантской жизни. Каждая ее глава — очерк одной из сторон советского "ада" и американского "рая": "труд", "досуг", "любовь", "культура" и так далее, а вместе они образуют выразительную и точную картину того, что было, того, что воображалось, того, что сбылось...

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Оберштурмбанфюрер Рихард Шрамм боготворил фюрера с тех пор, как впервые увидел его вблизи летом 1939 года. Гитлер был тогда в зените славы и могущества — обаятельный с приближенными, доверительно-дружелюбный с товарищами по партии, очаровательно-любезный с дамами, приветливый с детьми.

Направляясь в штаб-квартиру фюрера в Берлине в конце марта 1945 года, Шрамм ожидал увидеть человека, быть может угнетенного поражениями, быть может — усталого и подавленного, но в основном — того же. То, что он увидел, его потрясло.

“Этот полуразвалившийся старик, протянувший ко мне слабую, дрожащую руку, ничем не напоминал Гитлера 39-го года. Физически он представлял собой страшную картину. Он мучительно медленно и с видимым усилием ковылял по коридору, ведущему из бункера в конференц-зал; верхняя часть его туловища была согнута и наклонена вперед, ноги волочились позади. Он совершенно утратил равновесие, и стоило ему остановиться, как он тут же опускался на одну из приготовленных для него скамеек или тяжело опирался на человека, стоявшего поблизости. Его глаза были налиты кровью; и, хотя все представляемые ему бумаги

*Уильям Керр*

печатались буквами, втрое больше обычных, он подолгу вглядывался в них сквозь сильные очки. Слюна текла почти непрерывно из угла его рта. Он представлял собой жуткое и жалкое зрелище”.

Превращение произошло с Гитлером буквально за считанные годы. Еще в 40-м году он выглядел моложе своих лет; до 43-го ему можно было дать его годы; после 43-го он внезапно и быстро стал превращаться в глубокого старика. Его глаза утратили прежний блеск и стали тусклыми и выпученными. Он стал все больше прихрамывать. Левая рука и нога начали сильно трястись, а если он подолгу стоял, то начинали дрожать и колени. Голос стал глухим и слабым. Сохраняя ясность ума, он терял память, быстрее уставал, легче и чаще раздражался, упрямее держался за свои, даже самые необоснованные мнения.

Объяснить это загадочное превращение одними тяготами войны невозможно — ведь на других вождей Третьего рейха те же тяготы так не подействовали. Загадка Гитлера должна иметь разъяснение в его внутреннем состоянии. Быть может, он был болен — физически или психически?

Почти сорок лет физические и психологические особенности личности Гитлера продолжают привлекать внимание тех, кто ищет разгадку ужасов нацизма в “феномене фюрера”, а не в состоянии немецкого общества. Бывшие немецкие генералы пытаются объяснить свои военные поражения упрямством и физической слабостью вождя. Бывшие нацистские лидеры культивируют легенду о Гитлере, которого сбила с толку и толкнула на войну и преступления кучка окружавших его злоумышленников. Многие историки хотели бы приписать все беды Германии личным слабостям ее руководителя, который утратил силы в критический для страны момент.

Представляется, что загадка Гитлера гораздо более сложна. Тем не менее и эти соображения нельзя сбрасывать со счета. Лидеры, подобные Гитлеру, и сейчас появляются то в одной, то в другой стране, и понимание причин их успеха, равно как и поражения, немаловажно для понимания современной политической жизни.

Был ли Гитлер физически болен?

В 1933 году этот 44-летний человек казался абсолютно здоровым. Если что и было в нем ненормальным, то это — образ жизни. Фюрер имел привычку превращать ночь в день. Он отправлялся

спать в три-четыре часа утра и просыпался около полудня. Он страдал бессонницей. В прошлом отличный лыжник и велосипедист, он забросил всякие физические упражнения. Его мучила навязчивая мысль, что он умрет от рака, как умерла его мать. После смерти своей племянницы он решил стать вегетарианцем на собственный лад — без консультаций с врачом или диетологом. В 1935 году он начал жаловаться на желудочные боли. Советы специалистов не помогали, и Гитлер обратился к знаменитому тогда в Берлине “чудотворцу” Теодору Мореллу, которого за глаза называли “вонючим козлом” — за неопрятность и подозрительные привычки. Морелл стал лечить фюрера собственными шарлатанскими методами, быстро вошел к нему в доверие и стал его личным врачом. Сначала Морелл определил у своего пациента “воспаление кишечника”, позже — “метеоризм” (попросту говоря, у фюрера пучило живот и непроизвольно выделялись газы). Лечение затягивалось, и Гитлер, проводивший все больше времени в кабинете своего личного врача, постепенно превращался в глубокого ипохондрика, одержимого мыслью о близкой смерти. Может быть, эта мысль подтолкнула его ускорить начало войны?

В 1966 году доктор Рор, исследовавший записки Морелла, высказал сенсационное предположение, что таблетки Кестера, которые Морелл давал Гитлеру против метеоризма, были, в сущности, медленно действующим ядом, так как содержали стрихнин и строфин, накапливающиеся в организме. Гитлер был таблетоманьяком: он принимал по 16 таблеток в день. Берлинские специалисты настойчиво советовали ему отказаться от услуг Морелла; однако фюрер выгнал их вон и целиком доверился своему шарлатану. Не исключено, что наблюдавшиеся у фюрера в конце жизни беспричинные и внезапные переходы от эйфории к депрессии были следствием глубокого отравления организма таблетками Кестера; ничто, однако, не свидетельствует, будто Морелл намеренно и систематически отравлял своего пациента.

Доктор Регенвальд считает, что Гитлер страдал послезнцефалитным паркинсонизмом, поскольку заразился инфекционным энцефалитом от своего шестилетнего брата Эдмунда, скончавшегося от этой болезни в 1900 году. Регенвальд перечисляет такие симптомы, как бессонница, плохое зрение, приступы беспричинной ярости, сутулость, остановившийся взгляд, слегка выпученные глаза. Все эти признаки действительно наблюдались у Гитлера к концу

его жизни. Однако осматривавшие его берлинские специалисты паркинсонизма у него не обнаружили.

Доктор Келли убежден, что Гитлер страдал психоневротической истерией. Признаки истерии Гитлер впервые обнаружил в Пазевальском госпитале в 1918 году, когда попал туда после отравления газами на фронте. При вести о революции в Германии и отречении императора Гитлер потерял сознание и, как он сам утверждал впоследствии, пережил "откровение" (то есть галлюцинацию), во время которой некий "голос" якобы возвестил ему, что он призван спасти и возродить Германию. (Заметим, однако, что, получив этот "приказ свыше", Гитлер почему-то им пренебрег и в подавлении революции и "возрождении" страны участия не принимал до 1923 года.) Дрожание руки и ноги — тоже один из симптомов истерии; они появились у Гитлера после провала путча 1923 года, исчезли, когда его дела после путча снова пошли хорошо, и снова возобновились, когда он понял, что проигрывает войну на восточном фронте. Впрочем, те же симптомы можно отнести за счет прогрессирующего склероза мозговых сосудов, который был обнаружен у Гитлера в 1941 году; склероз, кстати, дает и параноидальные тенденции — например, манию величия.

Добавим ко всему этому чудовищный образ жизни последних лет жизни "бесноватого Адольфа": с июня 1941-го по декабрь 1944 года он почти все время жил в своей штаб-квартире в Вольсфшанце, предпочитая работать и спать под землей; затем он переехал в берлинский бункер, где тоже дни и ночи проводил в подземелье, спал не больше двух-трех часов в сутки, ложился в четвертом часу утра после полуночного военного совещания, а в шесть утра уже открывал совещание утреннее. В итоге: безумный образ жизни, чудовищное напряжение психики, накопление в крови стрихнина, прогрессирующий артериосклероз и паркинсонизм или истерия, соединившиеся вместе, — вполне достаточно для объяснения внезапного и быстрого дряхления. Но — не для всего остального в загадке Адольфа Гитлера.

Может быть, он был, как часто говорят, психопатом?

Американский психолог Лангер определил его как "невротического или истерического психопата"; Эрик Эриксон назвал его "психопатическим параноиком"; немецкий психиатр Траубер — шизофреником; Эрих Фромм считает, что он был "на грани

безумия", а Роберт Уэйт видит в нем "личность, находившуюся в сумеречной зоне между неврозом и психозом".

Впечатляющий список определений — но не для того, кто знает, что все определения психиатров являются не более чем грубыми приближениями, попросту сокращенными обозначениями неких общих сдвигов в психике, и, по существу, ничего детального и глубокого не говорят о конкретном состоянии пациента. Современная психиатрия зачисляет в "невротики", "психопаты" и т. п. миллионы людей, и каждый из них сдвинут от "нормы" по-своему.

Возможно ли проникнуть в "ненормальность" Гитлера и более того — объяснить ею загадку его власти и судьбы, взлетов и падений? Психоаналитики-фрейдисты пытались сделать это, исходя из анализа его взаимоотношений с отцом и матерью. Они высказали много тонких и интересных догадок, и некоторые из них несомненно имеют отношение к будущему Гитлера. Известно, что у Гитлера была сверхлюбящая мать и суровый, с авторитарными наклонностями отец. Известно также, что Гитлер очень любил мать и уважал, хотя, вероятно, не очень любил отца. Эриксон, исследуя "Майн Кампф", пришел к выводу, что Гитлер был убежден в издевательствах отца над матерью. Возможно поэтому, что у него образовалось подсознательное стремление заменить отца в отношениях с матерью (стремление, усилившееся после смерти отца); невозможность реализовать это стремление могла породить ощущение сексуальной неполноценности, которое он так никогда и не преодолел. Некоторые исследователи полагают, что он был еще и сексуально извращенным, что также могло усилить ощущение сексуальной неполноценности. Наконец, русские врачи, исследовавшие останки Гитлера в саду имперской канцелярии, установили любопытный факт: у Гитлера не было одного яичка (результат недоразвития или застревания в паху) — что наверняка должно было влиять на его самооценку как мужчины. Сексуальная жизнь Гитлера настолько загадочна и неясна, что некоторые врачи считают его вообще импотентом.

Последствия этих кажущихся второстепенными фактов могли быть довольно значительными, хотя и подсознательными. Например, можно думать, что Гитлер тщательно стремился вытравить в себе все "слабое" и "женственное", чтобы казаться окружающим уверенным и решительным воплощением "мужественности"; собственную неполноценность он компенсировал тем, что проецировал свои недостатки на окружающих и безжалостно на

них нападал. С другой стороны, его привязанность к матери могла найти удовлетворение в последующей необычной, почти "семейной" привязанности к тесному кружку армейских, позже — партийных соратников: в этом "коконе" он ощущал себя защищенным, уверенным, всеильным и любимым — как ребенок возле матери.

Эрих Фромм, напротив, считает Гитлера холодным и самовлюбленным человеком, который был одержим стремлением сокрушить все, что стояло на его пути. Стремление это, по Фромму, возникло из-за недостатка материнской любви. Именно это, считает Фромм, привело к тому, что Гитлер так и не примирился с реальностью, не признавал авторитеты, охотно уходил в инфантильные фантазии о мести окружающему миру за все унижения, перенесенные в жизни, — фантазии, которые он, став политиком, сумел осуществить.

Несомненно, Гитлер был холодным, черствым, исключительно эгоцентричным и жестоким человеком. Он лично ответствен за эвтаназию душевнобольных, проведенную в 1935 году, за "ликвидацию" польских руководителей в 1939 году, за "окончательное решение" еврейского вопроса в 1939—45-м годах и за приказ о применении на восточном фронте тактики "выжженной земли", отданный в 1945 году. Верно, он умел быть (или казаться) обаятельным, любезным, дружелюбным и милым, но не случайно такой близкий к нему человек, как Шпеер, считал, что все это — маска, под которой прячется его подлинная натура, злобная и садистская. Но объяснять загадку Гитлера только врожденной или приобретенной в детстве злобностью характера было бы слишком наивно.

Некоторые психоаналитики идут еще дальше в поисках истоков гитлеровского характера. Они припоминают, что его мать, будучи служанкой в доме своего дяди, находилась с ним в кровосмесительной связи, что она оставалась его любовницей даже тогда, когда тетка лежала на смертном одре, что позже, выйдя замуж за Алоиза Шикльгрубера, она не нашла удовлетворения или примирения с прошлым и, возможно, сквозь всю жизнь пронесла чувство стыда и вины. Эти специалисты утверждают, что она передала эти чувства сыну, который всю жизнь стремился их в себе подавить, культивируя вместо этого жестокость и самовлюбленность. Гитлеру потому и ушел в политику, говорят эти специалисты, что в этой сфере имел возможность навязать окружающему миру свои фанта-

зии, в которых стыд и вина его матери (и его самого) были “изжиты”. Чувство стыда толкало его на жестокость, которая возвращала его к чувству вины, а последнее он пытался преодолеть еще большей жестокостью, становясь, таким образом, пленником этих повторяющихся циклов.

Но Эриксон давно уже указал, что все эти построения слишком сложны: дело можно объяснить куда проще. Любой подросток переживает период мучительного примирения с реальностью и поиска своей роли в ней, и, если ему это не удастся, он остается искалеченным на всю жизнь. Именно это, по мнению Эриксона, и произошло с Гитлером, который остался “вечным незрелым подростком, пытавшимся в политике найти эквивалент житейскому счастью, спокойствию и душевному миру обычных зрелых людей”.

Биография Гитлера дает основания для такого анализа. Школьные неудачи; юношеские метания; уход в божественную жизнь “непризнанного” художника; добровольный, почти радостный уход в армию при первом же известии о начале войны — все это выдает незрелого человека, не нашедшего ответов на требования жизни и пытающегося уйти от жизненной ответственности. Не случайно он с такой готовностью подчинился армейской дисциплине, был таким отличным служакой, так полюбил армейское “товарищество” и так стремился потом воскресить его в своей среде. Затем поражение 1918 года вызвало у него новый кризис, выразившийся в приступах гнева по адресу “предателей Германии” и потере сознания в госпитале при вести о капитуляции. Вторично его спасло случайное знакомство с Дрекслером — основателем немецкой рабочей национал-социалистской партии, на заседание которой Гитлер был послан в роли рядового армейского осведомителя в сентябре 1919 года. Приведенный в ярость чьим-то выступлением, Гитлер произнес там патетическую речь, которая привела в неистовый восторг аудиторию и заставила Дрекслера привлечь его на роль партийного оратора. Однако в действительности Гитлера спас не Дрекслер, а вся ситуация тогдашней Германии: глубокое недовольство средних и низших слоев и особенно молодежи Веймарской республиканской, экономическим кризисом, Версальским миром. В этой наэлектризованной недовольством атмосфере анахроническая фигура солдата с передовой, “окопного патриота”, приобрела особое очарование, немислимое, например, в более устойчивых, не столь раздираемых конфликтами обществах послевоенных

Англии или Франции. Правые экстремисты (многие из которых зачастую и не нюхали сами пороха) перенесли в немецкую политическую жизнь эти грубые ценности фронтовой жизни, где все были связаны братством по оружию, независимо от происхождений и сословий, и где все посвятили свою жизнь борьбе против "врагов отечества". Нигде этот армейский "закон джунглей" не расцвел так пышно, как в рядах нацистской партии, начавшей свой путь с кровавых уличных схваток в Мюнхене начала 20-х годов. Все это было естественным следствием той тяги к насилию, которой были заражены молодежь и примкнувшие к "партии победителей" люмпены. В их среде Гитлер вновь обрел ту удовлетворенность, уверенность и чувство свершения, которые некогда нашел в армии. Фантастический мир его подростковых "мечтаний о братстве и мести" реализовался в виде нацистской партии, партийной среды, противостоящей "буржуазному обществу", организованной по знакомому армейскому образцу, пропитанной пафосом плаца и барака, глубоко презирующей все ценности буржуазной морали и западной демократии.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали: политический успех Гитлера понятен только в контексте глубокой коллективной травмы, пережитой немецким народом после Первой мировой войны. Но такое тривиальное объяснение не продвигает нас в понимании "феномена Гитлера", то есть загадки его влияния на массы. Тут на помощь может прийти социальная психология с ее глубоким проникновением во взаимоотношения "лидера" и "группы".

Групповая психология — не такая уж новая штука. Еще Шиллер обращал внимание на различие в поведении одного и того же человека в одиночестве и в толпе: "Сам по себе он умен и проницателен, а в массе — жесток и глуп". Но лишь после Первой мировой войны Фрейд, Ле-Бон и Мак-Дугалл начали систематическое изучение особенностей групповой психологии. Они пришли к выводу, что отличительной особенностью толпы является "эскалация эмоций", приводящая к тому, что все члены толпы начинают одинаково реагировать на призывы и речи лидера. Фрейд объяснял это механизмом влюбленности в лидера. Влюбленный человек начинает отождествлять себя (точнее, идеального себя, свой идеал) с объектом любви и невольно перенимает часть его особенностей. В группе ее члены отождествляют себя с одним и тем же объектом — лидером и тем самым — друг с другом. Они "влюблены" в одно-

го и того же человека, и это делает их "близкими" и "родными" друг другу. Тот, кто делит мой восторг в данную минуту, становится приятным, желанным, "своим". Его эмоции, будучи такими же, как у меня, усиливают во мне ощущение правоты и правильности моих эмоций и тем самым — усиливают эти эмоции. Иными словами, теряют способность критически оценивать события и слова, ибо полностью подчиняют свое "я" другому "я" (лидера). Это объясняет особенности поведения группы: отсутствие эмоциональных барьеров, ощущение всеисилия, утрату индивидуальной ответственности, неспособность различать между истиной и ложью, неприятие логических аргументов. Ле-Бон объединяет все эти особенности, говоря, что лидер приобретает в глазах толпы мистическую силу, или "престиж". По Фрейдю, лидер сходен с наводящим ужас вождем первобытного племени, который подавляет сексуальные вожделения молодых воинов и правит ими так, как им подсознательно хочется, — с помощью жестокой и беспощадной силы, не подлежащего обсуждению и осмыслению приказа.

Но проведенные в последние годы работы показали, что при всей справедливости этих наблюдений они не исчерпывают сложности групповой ситуации. Выяснилось, что лидер не только манипулирует членами группы — весьма интересно, что он сам является объектом манипуляции: группа навязывает лидеру те свои желания, которые он вынужден осуществлять, если хочет остаться лидером. В одних группах члены ждут, чтобы лидер дал им защиту, безопасность и эмоциональное утешение; в других — они ищут того, кого можно ненавидеть и унижать или, напротив, бояться и обожествлять; в третьих — они взыскуют единства и чувства принадлежности к массе; но во всех многочисленных вариантах лидер является как бы пленником группы, обязанным удовлетворять ее желания и эмоциональные потребности.

В случае Гитлера это означает, что мы не должны видеть в нацистской партии или в немецком народе пассивные объекты, которыми манипулирует искусный политик, играющий на "инстинктах мелкой буржуазии". То, чего эти "группы" требовали от своего фюрера, было для него категорическим императивом. Даже если бы Гитлер не хотел идти на путч в 1923 году, он все равно вынужден был бы это сделать, чтобы удовлетворить своих последователей. И даже если б он готов был удовлетвориться меньшим, чем канцлерство в 1933 году, он не мог согласиться

на это меньшее, не рискуя войти в конфликт со своими единомышленниками и обожателями.

В обычных группах лидеры вынуждены удовлетворять, как правило, те мечтания, страхи и фантазии, которые сложились у людей еще в детском возрасте — как у самого Гитлера. Но когда речь идет о вождях, руководящих целыми народами, то они имеют дело уже не с теоретическими группами, которые социальный психолог вычленил в своей лаборатории, а с исторически сложившимися коллективами. Гитлер, как лидер немецкого народа, должен был отвечать двойной системе требований: по отношению к отдельным немцам играть роль "отца", призванного избавить "детей" от неприятностей и дать им облегчение и утешение; по отношению к народу как целому — быть тем, кто сохранит и возвеличит "суперэго" Германии как исторической общности людей.

Доктор Стирлин считает, что Гитлер как лидер был избран немцами для реализации их коллективных стремлений. Он дал им работу, безопасность и порядок, восстановил их чувство достоинства и упрочил авторитарный характер их семейной жизни, по которому они тосковали. Его индивидуальное стремление отомстить за "позор" матери могло быть одновременно выражением коллективного стремления народа отомстить за свой "коллективный позор", преодолеть свою коллективную травму, вызванную военным поражением.

У традиционного историка эти соображения должны вызывать тревогу. Можно ли сравнивать нации с семьями, говорить о коллективной травме и коллективном позоре, проецировать личные конфликты на общенациональный экран, считать индивидуальную семейную историю Гитлера типичной для немецкой семьи вообще?

Эти вопросы не академичны — ответы на них приближают к более глубокому пониманию. Вильгельм Рейх, бежавший от нацистского террора в Америку психоаналитик-еврей, уже в 1933 году заявил, что главной опорой и причиной повторяющегося возрождения немецкого авторитаризма является немецкая мелкобуржуазная семья, в которой доминирует тираническая фигура отца (при покорной и робкой, забитой матери). Рейх утверждал, что сыновья в таких семьях настолько боятся отцов, что подавляют даже естественную в этом возрасте "эдипову" неприязнь к ним, а поиски поддержки у матери не дают им утешения. В результате их отношение к обоим родителям становится двойственным, слагающимся из любви и ненависти, мазохистской забитости

и садистской мечты о мести. Они не обретают независимости и вырастают покорными и послушными рабами, готовыми прилепиться к любому вождю и вообще сильной фигуре, какая им встретится на пути. Их подавленные деспотическими отцами сексуальные стремления находят выход в преувеличенном значении, которое они придают всему "мужскому", прежде всего — военному, в постоянных перепадах от униженности к жестокости. Эрих Фромм в своей книге "Бегство от свободы" говорит: "Мелкобуржуазные слои Германии были по большей части садомазохистичны по природе, и потому их особенно привлекала нацистская идеология". Иными словами, структура личности Гитлера (и структура нацизма как идеологии) в крайней форме выразила те типичные особенности немецкого характера, которые мы называем авторитарными, — и потому он оказался пригодным на роль лидера подобных ему людей.

После войны американские психологи провели массовое обследование нацистской молодежи и ее лидеров, чтобы выяснить, какого рода люди чаще всего становятся нацистами. Результаты подтвердили приведенные выше теоретические соображения. В большинстве это оказались люди с незрелой, инфантильной психикой, трактовавшие все человеческие отношения в жестких авторитарных терминах, вколотенных в них в детстве. Такие люди с достойной сожаления частотой появляются на страницах немецкой истории, — готовые без раздумий выполнять приказы и верящие при этом в свою "чистоту", тираны и садисты в собственных семьях, но убежденно считающие себя жертвами обстоятельств (тиранических отцов, сверхзаботливых матерей, суровых начальников в СС, союзных следователей и т. п.). Они склонны, как правило, издеваться над теми, кто находится в их власти, и беспрекословно подчиняться тем, в чьих руках находится власть. Они презируют человеческие слабости и превозносят любые "мужские" достоинства, особенно суровую армейскую дисциплину, которая освобождает их от необходимости самим разбираться в реальности. Они полны неуверенности, и эта психологическая неуверенность проявляется в постоянном колебании между верой во всемогущество своей "группы" (партии, армии, страны) и убежденностью, что от них самих ничего не зависит. Из шестисот "пациентов", биографии которых были изучены доктором Мерклем, свыше 70% оказались параноиками, выросшими в авторитарной атмосфере семьи или сиротского дома; все они, как пра-

вило, были социальными неудачниками в прошлом и достигли высокого положения при нацизме, отличившись жестокостью и садизмом. Возникает вопрос: был для них нацизм фактором, помогавшим сохранить целостность психики, или они просто видели в нем возможность компенсировать социальные неудачи? Можно ли сказать, что недостаточно социализированные люди вообще больше поддаются "коллективной травме" и всю остальную жизнь ищут общество себе подобных, вместе с которыми они могут ненавидеть и мстить?

В любом случае эти данные показывают, что многие из личных особенностей Гитлера: агрессивность, параноидальная ненависть к "врагам", полная преданность предвзятым идеологическим концепциям — массово воспроизводились в рядовых членах его партии. Секрет успеха Гитлера во многом лежал в совпадении его личной патологии с потребностями травмированной части послевоенного немецкого общества. Конечно, было бы неправильно сводить всю загадку Гитлера к психологии; но несомненно, столь же неправильно было бы и пренебрегать ее данными. Именно во взаимодействии между личностью в ее динамике и полнотой исторического опыта народа лежит объяснение загадки Гитлера. "Бесноватого Адольфа" нужно рассматривать в контексте тех социальных (в том числе и внешних) сил, которые формировали немецкую историю между 1871-м и 1945 годами. Каким бы "величием" он ни обладал (в смысле воздействия на европейскую историю), оно выросло из конкретной исторической ситуации, которой структура его личности случайно соответствовала. Как сказал немецкий историк Дейерлин: "Историческая ситуация не создала Гитлера, но она сделала его появление реально возможным". Загадка Гитлера — не только социальная и не только психологическая, это загадка социально-психологическая, и она заставляет с особым вниманием присматриваться к взаимоотношениям лидеров и масс в тех обществах и ситуациях, которые характеризуются наличием глубоких, разделяющих народ коллективных комплексов социальной неудовлетворенности, национального позора, исторической вины или неизжитой жажды самоутверждения.

## ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Осенью 1960 года я, недавно принятый в отдел керамики сотрудник музея в Кускове\*, вносила в специальные научные анкеты сведения о вновь поступивших вещах. Над этой обязательной для всех сотрудников музея работой скучали почти все, и я не была исключением...

"22,5 см высота", — вносила я в соответствующую строку... "Фарфор"... Далее стояло: "На каком заводе выполнено производство?" ...Этого я не знала. Почесав в затылке, я написала: "Изделие мастерской в Абрамцеве"... По типу фигурка действительно напоминала произведения мамонтовского предприятия\*\*... Но откуда мне было знать, что заместитель директора по научной части в Кускове Б. И. Алексеев, всегда настойчиво относящийся к появлению новых сотрудников, собственноручно будет проверять мои нехитрые записи...

— Вы проверяли? — спросил он меня на следующий день. — В Абрамцеве действительно работали с фарфором?

---

\* Государственный музей керамики и "усадьба Кусково XVIII века".

\*\* Первоначальное название "Абрамцевская мастерская"; после разорения С. Мамонтова завод был переведен в Москву и получил название: "Керамический завод Абрамцево". Иногда его еще называли: "Абрамцево, что в Бутырках"...

*Клара Пруслина*

**В ПОИСКАХ  
НОВЫХ ИМЕН**

Конечно, я ничего не проверяла, я, собственно, даже не знала, как можно проверить.

— Поезжайте в Абрамцево, — приказал Алексеев. — Поговорите с Пахомовым. Это может быть интересно. Фигурка действительно стилистически близка к Абрамцево...

Николай Николаевич Пахомов, если верить слухам, до революции был егерем самого императора Николая II. Место директора музея он получил уже после революции, когда, пользуясь научными и родственными связями жены, сумел отстоять этот прославленный памятник русской культуры от превращения его в дом отдыха для профсоюзных работников. С тех пор, вплоть до самой пенсии, он был бессменным директором музея, и, как выяснилось впоследствии, далеко не самым худшим... Разумеется, он не мог вести научную работу (а охота в окрестностях Абрамцево запрещена) и, боясь "грамотеев", старался не допустить их в "сотрудники", — неровен час, станут претендовать на его место!.. Но он, по крайней мере, берег ансамбль и ничего в нем не переделывал и не разрушал. Кроме того, в нем действительно было уважение к культуре, как таковой... Вот к такому человеку ясным погожим сентябрьским утром я приехала за консультацией. Всем, побывавшим в Абрамцево, памятно, какое это большое удовольствие пройтись абрамцевским лесом, спуститься по ступенькам узкой петляющей лестницы, снова лесом, там, где В. Васнецов писал свои сказки, И. Левитан пейзажи, а В. Серов "девочку с персиками"...

— Фарфор в Абрамцево? — переспросил меня Николай Николаевич. — Впервые слышу. Но, может быть... Если вы утверждаете, что фигурка похожа... Почему бы нет? САВВА ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ мог все...

Мы прошли с ним в экспозицию музея. Затем пошли в запасник... Любезный радушный хозяин, он хотел показать все... В запаснике мое внимание привлекла майоликовая фигурка: позой, да и по одежде она напоминала фигурку в музее, из-за которой, собственно, Алексеев направил меня сюда. "Это что?" — "Это одна из ранних работ А. Т. Матвеева периода его дружбы с Мамонтовым..." — "Жаль, — вздохнула я, — еще два года тому назад можно было расспросить самого Матвеева, а сейчас..."

— Почему? — бодро переспросил меня Пахомов. — Матвеев умер, но осталась Зоя Матвеева, его жена... Существо отнюдь не бессловесное... Хотите ее телефон?

Я выписала из музейной картотеки телефон и адрес З. Матвеевой.

— Так значит не бессловесная? — осклабился зам. директора по научной части в Кускове. — Что же, поговорите с нею, коли так. Даже обязательно поговорите! — Он засмеялся...

— Что? — сказал баритональный женский голос. — Искусствовед из музея? Милости просим, милости просим. Приходите в пятницу, эдак часиков в двенадцать...

Ровно в двенадцать часов я звонила в квартиру Матвеевых на Масловке. Дверь распахнулась как-то внезапно. На пороге стояла высокая грузная старуха... В поднятой правой руке она сжимала металлический молоток.

В квартире положение объяснилось. По Москве в то время распространились слухи о некоем молодом армянине, который звонил в квартиры, заявлял, что он из Мосгаза, а затем врывается, грабя и убивая владельцев... Даже по радио предупреждали об этом. Испуганные жители предпочитали в одиночку не открывать квартир. Но не из таких была Матвеева. Она открыла дверь тотчас, но... приготовилась защищаться. А было ей в ту пору 84 года...

И, конечно, ее совершенно не интересовали проблемы музея. Она хотела показывать свои картины и разговаривать о своем знаменитом муже... (Мне она подарила маленькую майоликовую фигурку работы Матвеева, которую я сочла своей обязанностью тут же передарить от своего имени в музей и до сих пор себе этого не прощаю!)

Матвеева неожиданно прервала свой монолог:

— Об абрамцевском периоде Александра Терентьевича я ничего не знаю... Мы ведь встретились намного позже... Я свяжу вас с П. В. Кузнецовым. Он-то уж все знает об этом. Они вместе там начинали... Я поговорю с ним.

— Спасибо.

— Да никак вы собираетесь уходить! — всполошилась она. — Не хотите ли сначала позавтракать со мною?

— Ну что вы, зачем... Да и время сейчас не для завтрака...

— Понимаете, — сказала старая художница, — я все время одна. Есть одной очень неприятно. Вот я и не завтракала сегодня, рассчитывая, что мы позавтракаем вместе... Ну, как... Хорошо?

Как отказаться после такой просьбы... Мы прошли на кухню. Довольно мурлыкая, Матвеева суеулилась, расставляя на столе коп-

ченую рыбу, грибки, перец... Я только было собралась спросить, не вредна ли для ее возраста острая пища, не злоупотребляет ли она... но не успела.

— Ах, вы, молодежь, — сокрушенно сказала Матвеева, — все вы нынче пьете. Я для вас приготовила коньяк...

Я растерялась:

— Что же вы молчите?

— Понимаете... Я пью очень мало... И потом, я на работе... Как я буду делать потом записи!.. И потом коньяк... Я его не люблю... Он, по-моему, клопами пахнет! — отчаянно барахталась я, не зная, как выпутаться из создавшейся ситуации.

— Странно... Очень странно. Первый раз вижу такую молодежь... Ну, да ладно... Выбирайте!

Матвеева подвела меня к буфету и распахнула сразу обе дверцы:  
— Выбирайте!

Даже в музее я не видела такого разнообразия форм сосудов. Сверху донизу буфет был заполнен бутылками. Бутылки были прозрачные, дымчатые, молочного и цветного стекла, пузатые, длинные...

— А что, среди них есть и с вином? — Я решила, что Матвеева просто коллекционирует бутылки.

— Что? — изумилась она. — Неужели вы думаете, что я держу пустые бутылки? Пусть врагам нашим достаются пустые бутылки! Наши же всегда пусть будут полные!.. Выбирайте!

— Вы знаете... я плохо понимаю в винах... и... и, может быть, лучше совсем без вина? — беспомощно лепетала я, внутренне окончательно капитулируя перед ее напором.

— Что-нибудь легонькое? — басовито спросила Матвеева.

— Да, — обрадовалась я. — Конечно, что-нибудь очень легонькое!

— Хотите, — гипнотизируя меня взглядом, спросила она, — лимонную водку?

Откуда мне было знать, что лимонная водка покрепче столичной. Спровоцированная предыдущим вопросом ("легонькое"), я согласилась. Старуха вынула бутылку, и, глядя на желтый цвет жидкости, я окончательно успокоилась. "Что-то вроде лимонада", — подумала я про себя...

— Будем здоровы! — своим особенным, с хрипотцой голосом сказала она и залпом опрокинула внушительную граненую рюмку.

Не желая упасть в мнении хозяйки, я в точности повторила ее жест.

— Закусывайте, закусывайте, — засуетилась Матвеева, — вот грибки, икорка... Может, вы на диванчик перейдете?

Это было последним, что я помнила... Рюмка лимонной водки сбила меня с ног. Я очнулась на диване. Часы показывали без пяти четыре. Напротив меня в кресле бодрствовала Матвеева. Несмотря на то, что бутылка была почти пустой, в глазах ее не было ни хмелинки, разве что веки чуть покраснели.

— Какая слабая, какая слабая, — бормотала она.

Голова у меня разламывалась.

— Опохмелиться бы вам, — озабоченно сказала старуха, — да я уж теперь боюсь...

Она проводила меня до метро, и в саду на Масловке, где мы присели отдохнуть, показала мне зарядку, которую она делает по нескольку раз в день, чтобы не получить на старости лет подагру.

— Ну-с, какова Матвеева? — спросил меня Алексеев.

Старуха славилась своими эксцентричными выходками, и Борис Иванович не прочь был услышать очередной анекдот. Но на этот раз "героем" была я и потому предпочитала об этом не распространяться.

Но через несколько дней мне позвонил Пахомов.

— Куда вы запропалились? Матвеева вас разыскивает. Позвоните ей...

Я позвонила, хотя и не ожидала от этого никакого проку.

— Здравствуйте! Рада слышать ваш голосишко... Я договорилась с Павлом Варфоломеевичем, он вас примет... А потом приходите ко мне... Придете?.. Хотя вы и не пьющая, вы мне понравились. Приходите, я сделаю ваш портрет.

— Вечером, — услышала я важный голос. — Вечером в восемь часов и не опаздывайте...

Боясь запутаться в переулках, я вышла загодя и, взобравшись на последний этаж, с облегчением прочитала на дверной табличке: "Заслуженный деятель искусства РСФСР профессор живописи П. В. Кузнецов".

Я нажала кнопку и только тогда посмотрела на часы. На часах было семь... Я пришла за час до назначенного срока.

Я хотела сбежать, как нашкодивший мальчишка, но не успела. На пороге распахнутой двери уже стоял сам маэстро. Он был

явно рассержен. Но ужас, ясно отразившийся на моем лице, заставил его оборвать фразу на полуслове. Неудержимо расхохотавшись, он махнул мне рукой: "Проходите".

Невысокий, в пижаме шоколадного цвета, он показался мне пропорционально круглым и чуть мешковатым... Его картины с певучими и чистыми, как на витражах красками, восточные мотивы его "азиатских" пейзажей как-то странно контрастировали с этой простецкой, на первый взгляд, очень мужицко-русской физиономией. На круглом столике лежал раскрытый томик персидских стихов, которые, по-видимому, до моего прихода читал хозяин...

Нелегко было мне, искусствоведу, воспитанному на пошлости "социалистического реализма", включиться в особый строй живописного мышления художника. Картины Кузнецова, которые я до этого видела в Третьяковской галерее, были намного проще, как-то прозаичнее того, что висело у него в доме.

— Кто это? — осторожно спросила я у художника, показывая на поколенный портрет молодой женщины с кувшином.

— Это художница Бебутова, моя жена.

— Красиво.

— Да, — гордо отвечивал хозяин. — Моя жена намного моложе меня. Она и сейчас молода и красива...

Я покосилась на хозяина. По моим подсчетам Кузнецову сейчас было примерно 87—88 лет. Сколько же лет его "молодой" жене?..

— О чем пойдет беседа?.. Что вас, собственно, интересует?..

Я объяснила.

— Абрамцево... Мамонтов... Как давно это было... и было ли вообще... Да... Савва Иванович был одержим искусством. Более чуткого и пронизательного человека мне не приходилось встречать.

— Кто работал в керамической мастерской?

— Да все, кто хотел. Разве упомнишь... Я работал, ~~Матвеев~~, сам Мамонтов...

Я показала ему фотографию фигурки.

— Кто это?

— Это Аленушка... Привезли девушку, посадили ее в позу васнецовской Аленушки, одели в старый русский костюм и лепили... ну, кто хотел...

— А кто все-таки лепил?

— Матвеев, ну, там, Андреев... Не знаю... Я не лепил.

— Может быть, это Андреев? — спросила я, не веря сама себе.  
— Андреев\* — и такой интим... Да что вы... А знаете кто это? — вдруг оживился он. — Эту работу выполняла Брускетти!

— Извините, но кто такая Брускетти?

— Алиса? — глаза Кузнецова довольно сузились. — Красавица, умница... Образованная, очень элегантная... Экспозито — дирижер мамонтовской Частной оперы и композитор — посвящал ей романсы. Трубецкой и Матвеев были влюблены в нее, как впрочем, и мы все. Начинала, как очень талантливый скульптор... Недаром Мамонтов взял ее к себе... А он, знаете, понимал, что к чему... Но потом влюбилась в Шалапина, поехала за ним в Петербург и там пропала...

— Пропала? — переспросила я, ожидая детективных ужасов.

— Ну да, вышла замуж там за мироискусника Митрохина... А вы знаете... мироискусники... они все были такие суб-тильные, — протянул он.

— ...Митрохин? — переспросил меня Алексеев, — Митрохин волею Божьей помре... Либо в 20-х годах здесь, либо за границей.

— Но об этом нет сведений в энциклопедии.

— Ну, это очень просто, не было у составителя справки точных данных... Неужели вы думаете, что если бы такой большой художник был еще жив, никто о нем ничего не написал бы за все это время?

Хотя слово Алексеева было для меня в ту пору законом, все-таки я запросила сведения о нем через адресный стол. И... получила ответ с московским адресом...

— Однофамилец, — сказал Борис Иванович. — Митрохин — коренной петербуржец... Я повторяю, если б он был жив, мы бы знали о нем через художественную прессу... Это однофамилец. Я запрещаю вам тратить рабочее время на пустяки... Вы узнали фамилию автора фигурки — достаточно с вас.

Я подчинилась. Но через некоторое время как всегда непоследовательный Алексеев сказал мне:

— Съездите все-таки... Интересно, знаете... Сейчас на Беговой выставка. Посмотрите... Прогуляйтесь.

Очень неприятно звонить к незнакомому человеку, будучи абсолютно уверенной в своей ошибке... Ведь Митрохин умер...

---

\* Н. Андреев — известный скульптор-монументалист. Автор лучшего памятника Н. Гоголя.

зачем я это делаю... Сбравшись с духом, я все же нажала на кнопку звонка... Десять минут позора... Мне открыл дверь тонкий, очень сутулый человек неопределенного возраста. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Серые внимательные глаза как бы вобрали меня в себя, и я буквально растворилась в этом взоре. Только однажды в детстве, заблудившись в лесу, я испытала подобное ощущение... Тогда я наткнулась на болотце, густо заросшее незабудками, и утонула в их свежей голубизне, забыв обо всем на свете. Сейчас ощущение было сходным...

— Что вам угодно? — прервал молчание незнакомец.

— Я... я... — преодолевая отчаянное смущение, начала я, — разыскиваю петербургского художника-мироискусника Дмитрия Исидоровича Митрохина...

Сейчас выяснится, что я попала не туда, и я...

Только многие годы спустя я поняла, как задели мои слова художника. Но сейчас он негромко рассмеялся.

— О-о, петербургского, да к тому же мироискусника. Это было так давно... Я художник Митрохин, пожалуйста, проходите...

Совершенно ошарашенная, я последовала за хозяином. Он был одет в тщательно отглаженный серый костюм, в галстук, какое-то неуловимое ощущение утонченной элегантности, джентльменства исходило от всего его облика. Хотя ему никак не могло быть меньше 80 лет, он не казался старым.

— После "Мира искусства" прошло столько лет, — с любезной улыбкой сказал художник. — И я успел сделать еще кое-что... Не хотите ли взглянуть?

— Да, — согласилась я, скорее из вежливости, чем по внутреннему побуждению.

После многолетних поездок с передвижными выставками, я разлюбила смотреть картины... К тому же у меня лежал вопросник, который обязательно нужно было заполнить, и тратить время на посторонние предметы мне не хотелось... Но ничего не поделаешь...

Вдвоем мы уселись за маленький секретер с откидным столиком. Дмитрий Исидорович развязал небольшую пачку своих акварелей...

— Ах, — сказала я, — а-ах!..

Через какое-то время Дмитрий Исидорович спросил меня:

— Так, собственно, зачем вы пришли ко мне?

— Знаете что, — важно сказала я. — Давайте я сначала посмотрю ваши работы, а потом...

— Но их очень много, — засмеялся Митрохин. — Вы не успеете.

Действительно, на полке лежало много совершенно одинаковых по размеру и так же аккуратно перевязанных пакетов. У меня заболело сердце. "Неужели мне не придется это увидеть... Что же сделать, что же сделать?"

— Вы понимаете, у нас в музее оказалась работа Брускетти... Наверное, это была художница-дилетант, но вот Кузнецов, Павел Варфоломеевич, говорит...

— Алиса Яковлевна Брускетти-Митрохина — это моя жена. Она окончила Московское училище живописи, ваяния и зодчества с серебряной медалью... В Училище она училась сразу на двух отделениях — живописи сначала у И. Левитана, а потом у В. Серова и К. Коровина, на отделении скульптуры П. Трубецкой считал ее наряду с А. Матвеевым своей лучшей ученицей. После этого она работала в Абрамцевской керамической мастерской под руководством М. Врубеля, а затем окончила керамическое отделение в школе Петербургского общества поощрения художеств, где в это время директором и художественным руководителем был Н. Рерих... Если такого человека вы считаете дилетантом, — он развел руками, — то кого же тогда надо считать профессионалом?

— Но, может быть, она мало работала? — пискнула я.

— Нет, она работала всегда и помногу... Вплоть до дня своей смерти в 1942 году в ленинградской блокаде.

— Простите меня, простите...

Но Дмитрий Исидорович уже снова улыбался мне.

— Приходите, приходите, — пожимал он мою руку своими необыкновенными руками, — обязательно приходите.

Мой рассказ наделал в музее переполох...

— Вы слишком неопытный сотрудник, — доказывал мне заведующий отделом керамики В. Попов. — Вы не справитесь с такой ответственной работой, ведь это ОТКРЫТИЕ! Скажите Алексеву, что вы передаете эту работу мне!

Я сообщила о его желании Борису Ивановичу.

— Нет, — ответил нам обоим Алексеев, — этим я займусь собственноручно!

Но примерно неделю спустя он вызвал меня к себе в кабинет:

— Брускетти, — сухо, не глядя на меня, сказал он, — с этого дня будет считаться вашей научной работой в музее. Пятница будет вашим творческим днем. В этот день вы будете приходить к Митрохину и работать с ним.

— Что случилось? — недоумевала я.

Но в пятницу положение разъяснилось.

— Я слишком стар, — извиняюще глядя на меня, сказал мне Митрохин. — Сейчас я могу позволить себе общаться только с такими людьми, которые мне действительно интересны и симпатичны.

(Боюсь, что его выбором руководило желание видеть рядом с собою сравнительно молодое существо, ведь все его оставшиеся в живых друзья состарились вместе с ним.)

Никогда в жизни я не была так польщена. В благодарность я в следующий визит принесла ему две спичечные коробки, наполненные жуками и божьими коровками, которые я собирала в поте лица, трудясь в Кусковском парке. Дмитрий Исидорович обрадовался подарку и, глядя, как бережно, с каким почтением он рассаживал их по цветам и декоративным растениям в своей комнате, я возблагодарила Бога, что он не видел моего варварского обращения с насекомыми в период "охоты" за ними... Для Дмитрия Исидоровича каждый жук, яблоко, любое растение и насекомое были маленьким микрокосмом, это отношение он сумел передать в своих работах, особенно в акварелях последнего периода.

Но я не забыла, что Кузнецов в числе людей, занимавшихся в конце XIX- начале XX века керамикой, назвал себя, Андреева, Матвеева и даже Головина...

"А что если их всех собрать?"

И я решила снова позвонить Матвеевой и Кузнецову, по своему почину. Матвеева мне обрадовалась, Павел Варфоломеевич дал снисходительное согласие, чтобы я иногда приходила к нему по вечерам за информацией.

Зоя Васильевна только что вернулась с творческой дачи, очень довольная собой. Три дня она провела там, никак себя не выявляя, а потом, наскучив "высоким стилем" бесед, решительно заявила:

— Ну, хватит! Идите, девки, сюда! Посмотрите, что я привезла!

Она раскрыла свои вместительные чемоданы, и пораженные

художницы обнаружили, что они полны бутылок с вином. Заслышав о "провизии", к Матвеевой сбежались "девки" из мужской половины творческой дачи... Боюсь, что на этот раз художники не порадовали своими творческими успехами начальство... Матвеева буквально их споила и сейчас, очень довольная собою, рассказывала мне об этом. Наученная горьким опытом, она больше меня не провоцировала, но так как пить в одиночку "неприлично", то она ставила мне крохотную рюмочку, и перед тем как ее заполнить, долго размышляла, озабоченно поглядывая то на меня, то на вино, учитывая, так сказать, его крепость и силу воздействия.

Проще было с Павлом Варфоломеевичем. Он любил рассказывать и, хотя рассказывал преимущественно о себе и не любил расспросов о других художниках (исключение составлял друг его детства А. Матвеев), являлся для меня важным источником информации.

— Керамикой я начал заниматься, — рассказывал Кузнецов, — чтобы организовать в себе дисциплину цвета... Ведь здесь невозможны смешанные тона, цвет надо брать локально... Сгармонизовать все, выявить полноту звучания каждого тона, каждого цвета — в этом деле роспись по керамике — неоценимый помощник... Не даст соврать... Вот когда Репин расписывал керамику, сразу становилось ясным, что в живописи он дилетант... Краски у него получались мыльные, невыразительные... Константин Коровин — тот ярко, красиво брал, но неряха — никогда не мог организовать форму. Мазок у него некрасивый... У Серова все было правильно, а — скучно выходило...

Специально подготовленным карандашом я записывала имена, не вынимая руки из кармана... Ведь Кузнецов не любил давать информацию о других и как-то даже обижался, когда внимание не было приковано всецело к его личности...

Имен накапливалось все больше и больше, и хотя я ни с кем не советовалась в музее, про себя я решила: "Если в этот период в создании керамики принимали участие крупнейшие художники страны, то считать все, что сделано тогда, огульно "вырождением" — это слишком большая роскошь, какую Россия, как бы она богата ни была, позволить себе не может..."

Павел Варфоломеевич вместе с А. Матвеевым создавали целые декоративные ансамбли, активно применяя керамику, майолику и т. д. Кузнецов, так же как и его друг, мечтал о монументальной

живописи, но... После революции было сбито и разрушено майоликовое панно на гостинице "Националь", разбито и развеяно в прах большое число его интерьеров, в частности — для церквей... Долгие годы он, как и Матвеев, были почти под запретом. Матвеев одно время даже вынужден был зарабатывать себе на жизнь починкой радиоприемников... "Зоя? Это она сейчас роскошествует, а было время..." Павел Варфоломеевич мрачнел, вспоминая...

— Нам нужно будет завтра пойти на прием к Халтурину, — меняя тему, напоминала ему жена.

— Никуда я не пойду, уверен, что это какой-то дурак...

— Да и я уверена, — отвечала Бебутова, — но, может быть, добрый человек?

Кузнецов кивнул, уступая напору жены. Приближалось девяностолетие художника, и вот Кузнецовы обивали пороги министерств, добиваясь устройства персональной выставки. Кроме того, Кузнецов мечтал (это было навязчивой идеей супружеской пары) получить звание "народного художника". Но естественно, что "народный художник", президент Академии художеств СССР Серов (по прозвищу "серый"), ура-патриотическими полотнами которого заполнялись все ведущие музеи и административные учреждения, не мог допустить его в "свою компанию".

— Зачем Кузнецову, — спросила я Митрохина, — произведения которого заслужили международное признание, стремиться в общество этих... Они же недостойны шнурков на его ботинках!.. Зачем?!

— Сам не понимаю, откуда у художников такое честолюбие... Кузнецов — и без званий Кузнецов, но ведь такие настроения не только у него... Вот и сын Нарбута приехал с компанией украинских художников... И как они только друг друга ни титуловали: великий... величайший... — Митрохин негромко рассмеялся и развел руками не без удивления. — Впрочем, пожалуй, у Кузнецова это понятно. Он хочет, чтобы его признали, обратили на его работы внимание... Это естественно... Жизнь его клонится к закату... Ведь и я, фактически, заживо погребен.

Но я-то знала, что он отказался от персональной выставки, которую хотели устроить по случаю его восьмидесятилетия. "Работаешь пусть скромно, но честно, как умеешь, а тут начнутся издательства, — пояснил он мне, — я слишком стар для этого, не перенесу..."

У Кузнецова был другой характер. Для него важны были — пусть

спор, пусть такая, как у нас, недобросовестная полемика, лишь бы не забвение, не молчание... Поэтому, дожив почти до возраста библейских патриархов, он, не щадя себя, поднимался по крутым лестницам министерства (а они были круты не только фигурально, но и буквально: в учреждении на Неглинной нет лифта), "качая права"... Он писал для людей, он хотел отклика, беседы... Пожалуй, он и в самом деле был НАРОДНЫМ ХУДОЖНИКОМ.

Музей — это маленький мир в себе. Слова начальства там звучат, как скрижали завета. Поведение директора, его слова, поступки, отношение к сотрудникам — все подлежит детальнейшему обсуждению, впрочем, как и поступки сотрудников... Я пришла в музей, проработав перед этим шесть лет на передвижных выставках. Там я была, в основном, самостоятельна в своих поступках. Я сама делала экспозицию, писала методические разработки для ведения экскурсий, статьи в газетах, сообщения по радио и телевидению, составляла каталоги, собирала картины для выставок, договаривалась с местным начальством, в глазах которых искусствовед из Москвы и сам был "начальством"... А здесь...

— Лидия Ивановна, — сообщила мне Светлана, девушка примерно моего возраста, — меня не любит.

— Почему?

— Да так, я не своя... Здесь вообще не любят интеллигенцию.

— Три к носу, — утешила я ее. — Я, конечно, хочу, чтобы меня все полюбили, и буду стараться, но думаю, что и Лидия Ивановна должна что-нибудь сделать, чтобы я, в свою очередь, ее полюбила.

Светлана смотрела на меня с недоверчивым недоумением: Лидия Ивановна! Такой важный человек в музее!.. О Лидии Ивановне стоит сказать несколько слов. Парторг музея, она вряд ли кончила больше семи классов. Она писала с ужасающими ошибками, а побывав на юбилее в Эрмитаже, сообщила нам, что больше всего ей понравилось приветствие Эрмитажу от херсонского музея, написанное в духе ОЛЕАДЫ (имея в виду, очевидно, "Илиаду" Гомера) .. Она работала в музее давно, едва ли не 25 лет, пришла сюда по комсомольской путевке, и прекраснодушная старая интеллигенция охотно приняла "кадр из народа"... Разумеется, "превзойти всю премудрость" кадр не смог, но зато сумел воспользоваться "глупостью и предрассудками" бывших бар. У этих людей были гордость, благородство, чувство собственного достоинства, они презирали доносы, были бескорыстны и полагали эти качества

всеобщими. Лидия Ивановна сумела все это поставить себе на службу. Эти люди не подсиживают друг друга? Тем лучше, пусть посвистят в кулак! ...Они презирают доносы? Значит, можно безнаказанно на них доносить... Сейчас Лидия Ивановна, читая едва ли не по складам, занимала одно из ключевых мест в музее, место "главного хранителя", с которого в свое время, не без ее помощи, был вытеснен Тройницкий — крупнейший в мире специалист по фарфору. По вечерам она выезжала к Курскому вокзалу продавать цветы, которые выращивала на собственном участке, пока ей в парткоме не запретили это делать. Сказать по правде, жаль, так как это и была ее настоящая профессия... Как я впоследствии убедилась, она была внимательная жена и нежнейшая мать, на работе же, не умея взять наукой, она яростно защищала свое место от возможных посягательств "грамотеев", которых под конец возненавидела.

Заместитель директора по научной части в музее Кусково, а фактически — главный руководитель научной работы в музее — Борис Иванович Алексеев начинал свою карьеру еще мальчиком в музее фарфора Алексея Викуловича Морозова, собрание которого явилось основой нынешнего Государственного музея керамики. Алексеев много почерпнул у Морозова, в частности, его неистовую любовь к фарфору. Борис Иванович действительно любил фарфор. Среди изделий бесчисленных русских и европейских заводов он был как у себя дома. Страстный собиратель, он рыскал по комиссионным магазинам и среди коллекционеров, пополняя собрание музея. Для коллекционеров он был непрекаемым авторитетом, и, надо сказать, его определения заводов, марок, времени исполнения производили впечатление своей неопровержимой точностью. Стоило посмотреть, как Алексеев жалким голосом ругал коллекционеру полюбившуюся ему вещь: "Вещица плохонькая, годится разве только для научной работы..." А потом, с горящими глазами, хвастался сотрудникам, гордясь приобретением...

Однако не все гладко было и в карьере Алексеева. Высшего образования он, по слухам, не получил, и его "продвижение наверх" в чем-то совпадало с карьерой парторга. Он был беспартийным, но... Как-то в журнале "Искусство" я прочла его рецензию на книгу Бакушинского "Н. Андреев", в которой Алексеев обвинял автора в "аполитичности" — в основном, за то, что тот не привел в книге портретный рисунок Сталина, выполненный Андре-

евым (кстати сказать, плохой). Рецензия была напечатана в 1937 году, и это, по сути дела, было прямым ударом ножа...

...Прошел год. Однажды Алексеев вызвал меня к себе и с соболезнованием сообщил, что хотя моя работа, особенно в связи с Брускетти, требует командировки в Ленинград, музей беден и сделать этого сейчас не может. Он казался искренне огорченным и поэтому я тоже совершенно искренне решила его утешить.

— Не беспокойтесь, — сказала я, — у меня в Ленинграде тетка. В свой отпуск я поеду к ней и все разужаю...

Борис Иванович был озадачен:

— В отпуск?

— Ну, конечно.

Кончилось тем, что я получила командировку в Ленинград — "на три дня"... Три дня — это, конечно, была насмешка: к счастью, я этого не понимала. Я и в самом деле полагала, что у музея на большее нет средств...

Шесть лет работы с передвижными выставками научили меня оперативности. За несколько дней до отъезда я обзвонила всех интересующих меня людей в Ленинграде и составила для себя точный график работы. Прямо с поезда я поехала в Русский музей, где, подготовленная моим звонком, Полина Соломоновна Мельцер уже выписала мне пропуск на проход в запасник музея и сразу протянула инвентарную книгу 1942 года. Все годы своей работы, даже в блокаду, Полина Соломоновна вела аккуратный и точный учет поступающих в музей произведений. Через полчаса я нашла "Дар Митрохина" — четыре работы Брускетти-Митрохиной — а затем по инвентарным номерам Мельцер нашла шкаф, в котором они находились. Кроме того, она показала мне еще одну работу, которую только что принесли на комиссию в музей. Это тоже была бесспорная Брускетти. Из Русского музея я позвонила в графический отдел Эрмитажа, Ариадне Александровне Шмидт и сообщила ей, что у меня есть для нее письмо от Дмитрия Исидоровича Митрохина. Ариадна Александровна — мать которой, художница Новодворская, была подругой Брускетти — любезно согласилась принять меня у себя дома. За два дня пребывания в Ленинграде я сумела найти восемь великолепных работ Алисы Яковлевны Брускетти-Митрохиной и... почувствовала азарт охоты... Я позвонила в Москву Алексееву.

— Сделайте фотографии!

— Но как же, где... моя командировка кончается завтра!

Алексеев объяснил, как оформить съемку, и разрешил остаться еще на четыре дня, сверх отпущенных мне на командировку (эти дни, кстати, он впоследствии не оплатил) ...

За время странствий по Союзу у меня накопилось не только много встреч, но и много друзей. Сейчас, не зная, как убить пустующие вечера, и горя желанием сообщить о моей удаче, я позвонила одному из них. Игорь мне обрадовался и повел знакомиться к Е.М. Магарил — великолепному, может быть, самому лучшему в Союзе мастеру акварели, учеником и почитателем которой он был. Евгения Марковна была снята с работы и исключена из Союза ленинградских художников, как "космополит"... В период моей встречи с нею, ее еще "не простили"... Космополитизм ее заключался в том, что она учила студентов понимать и любить французскую живопись — Ренуара, Сезана, Матисса и прочих. И водила их для этого в соответствующий отдел Эрмитажа. Сейчас она жила тем, что преподавала рисунок в любительском кружке в Доме пионеров. "Все бы ничего, — сказала она мне, ничуть не жалуясь и не рисуясь. — Вот только бы на краски денег хватало". Выслушав мой рассказ, она посоветовала пройти в архив ленинградского Союза художников, где скопилось несметное количество каталогов, едва ли не с первых дней революции. "По ним вы сможете определить, в каких выставках участвовала Брускетти и какими работами..."

На следующий день она сама позвонила в Союз художников. Хотя она уже не числилась там членом, в Ленинграде еще не совсем угасло чувство почтения к действительно большим мастерам... Ее просьбы, высказанные самым мягким, без всякой акцентировки голосом, всегда исполнялись безоговорочно. Выяснив, что фотографировать произведения Брускетти в музеях можно без меня, я нашла время на посещение архива. Это был, действительно, завал каталогов, в котором разобраться было очень трудно... Но я увидела там несколько имен и биографических данных, которые музей, составляя уже много лет каталог художников, работавших по фарфору в период 20-х годов, тщетно разыскивал. Я снова позвонила Алексею. "Хватит, погуляли! — бешено закричал он мне, не желая слушать моих объяснений. — Немедленно возвращайтесь!" Я послушалась.

Если в музее моих сообщений о Брускетти ждали с уязвленной завистью, то рассказ о сведениях, которые я нашла о художниках

первых лет революции, задел всех за живое... Это были как раз те данные, без которых музей не мог выпустить свой каталог, детище всей группы сотрудников отдела керамики. "Почему вы не завершили такую важную для всех сотрудников работу?" — закричал на меня Алексеев. "Но вы же сами не разрешили мне это сделать, ведь я вас просила!" Но Борис Иванович никогда не признавался в своих оплошностях. Только когда мы остались с ним вдвоем, он стал подробно расспрашивать о каталогах. "Это так нужно, так важно", — вздыхал он. "Ну пошлите меня снова в Ленинград", — предложила я. "Ка-а-к, снова оформить вам научную командировку? А не слишком ли жирно это будет?" — осклабился он. Я пожала плечами: "Как хотите?"... В командировку послали заведующего отделом Попова. И хотя я ему честно сообщила все, что знала, он ничего не нашел... Этот человек был удивительно способен заваливать любую работу, даже если она была на 99 процентов выполнена за него...

Снова потянулись ничем не примечательные будни музея. А впрочем, так ли уж непримечательные? Восемь часов в день мы проводили в "Усадьбе Кусково", некогда принадлежавшей Шереметевым, которые богатством не уступали никому из императоров Европы. Они были любителями искусства, и дворец был переполнен шедеврами. В зданиях усадьбы экспонировалась одна из лучших в мире коллекций керамики и фарфора. За дворцом располагался старинный, во французском стиле, парк с декоративной скульптурой XVIII века. В каждом домике — голландском, итальянском, Эрмитаже, гроте, а потом и в оранжерее — была своя особая экспозиция. В кухонном флигеле, где располагались сотрудники музея, находилась великолепная библиотека, начало которой положил Алексей Викулович Морозов, основатель музея. Сотрудники музея могли бы роскошно жить, если бы их не раздирали мелкие интриги, соперничество, необоснованная зависть и ревность к успехам другого...

— Алексеев, — предупреждала меня Светлана, — сначала дружит с новым сотрудником, всячески его расхваливает, а потом начинает ссориться и скандалить...

"Ну-у, — думала я, — со мною так не получится, я буду делать все так, чтобы ни за что не поссориться с ним... Зачем мне это?"

Но ревнивая подозрительность Алексеева не утихала. Он старался никуда не отпускать меня из музея, и тем не менее меня, как ему казалось, знало "слишком" большое количество людей.

Кто работает на меня, за меня?.. А дело было просто: в свои выходные, не совпадавшие с выходными днями художников на керамических заводах, я ездила на производство. Мне было интересно... В свою очередь, художники стали в дни своих приездов в Москву навещать меня... Коллекционеров — тех можно было посещать после работы: они всегда рады музейному работнику. Я при любой okazji вызывалась проехать в антикварный комиссионный магазин, чтобы затем рассказать Алексею, что там, по моему мнению, есть для музея интересного. Комиссионный находился на Арбате, открывался в одиннадцать часов и был близко от моего дома, а я любила поспать по утрам подольше, и это вот обстоятельство и было главной причиной моей "покладистости".

Круг моего знакомства с коллекционерами постепенно расширялся. Я научилась уважать эту особую породу людей, как правило, увлеченных, одержимых своею страстью, жертвующих во имя своего увлечения не только временем и деньгами, но, при существующем в СССР произволе, часто и своим благополучием. Иногда эти люди выглядят чужаками, и мои знакомства с ними не всегда обходились без курьеза. Так, однажды, разыскивая рекомендованного мне коллекционера, я случайно перепутала особняк и позвонила не в ту квартиру. Мне открыла двери стройная, совершенно седая женщина с сумрачным лицом. Пока мы выясняли ошибку, я увидела майоликовые маски, развешенные в передней, и попросила разрешения войти и осмотреть их. Из передней я увидела кухню, которая раньше, видимо, была чем-то вроде парадного зала: газовые комфорки коптели пухлых амура, резвившихся на потолке. Зал был явно испорчен стеной, которой его перегородили как будто не очень давно.

— Интересно, — спросила я сопровождавшую меня женщину, — кто живет за этой стеной? Мне бы хотелось посмотреть, как кончается эта лепнина на потолке?

— Пожалуйста, входите, — вежливо ответила она. — Это моя комната.

Оказавшись в комнате Ольги Леопольдовны, я забыла про амура. Вся комната от пола до потолка была уставлена картинами. Они были не только развешаны, но стояли, лежали беспорядочными стопками. Особняк когда-то принадлежал покойному мужу Ольги Леопольдовны, страстному коллекционеру. Уплотненные после революции, они ютились в одной комнате, которая, по сути, была кусочком некогда просторного танцевального зала особня-

ка. Но что меня больше всего поразило — это фарфоровые фигурки, выполненные в первые годы революции, предмет страстных поисков Алексеева. Музей покупал их по штукам и задорого. Здесь же явно была представлена вся серия Н. Данько. Ни в одном музее Советского Союза они не были представлены с такой полнотой.

— Что это? — не веря своим глазам, спросила я.

— Это так, пустячок, — отвечала мне моя новая знакомая. — В первые годы революции выпускали такие фигурки. Нас с мужем они очень забавляли и мы их покупали.

Теперь я еще раз и с еще большим вниманием оглядела комнату. В маленьком подвесном шкафу стояла посуда, среди которой выделялась большая чашка с розой посередине...

— Неужели Чехонин? Что это у вас?

— Это любимая чашка моего племянника. Он из нее всегда пьет и вот недавно разбил блюдце.

— Но ведь это ЧЕХОНИН?

— Да, — спокойно ответила она. — Это Сережа Чехонин.

— Но как вы не понимаете, что, продав в музей такую чашку, вы сможете купить вашему племяннику несколько сервизов... И пусть себе бьет их на здоровье!

По-видимому, работа в музее уже отравила меня. Я представила себе, как, выпросив по такому случаю у тетки чемодан, я запаковываю фигурки Данько, посуду Чехонина... А потом выкладываю все это перед сраженными наповал научными сотрудниками музея... "Да и женщина эта, по-видимому, нуждается. Ей эта сумма будет очень кстати... Сразу двух зайцев!"

— Эти фигурки, — ответствовала мне Ольга Леопольдовна, — не стоят медного гроша, но я привыкла к этим цветным пятнышкам в комнате и не вижу оснований с ними расставаться. Чашка же Чехонина нравится моему шестилетнему "родственнику"... У меня нет ни времени, ни желания рыскать по городу в поисках приемлемого сервиза.

— Но вы же не правы!

— Я знаю, что я не права, но все будет так, как я сказала.

Опустив голову я молчала совершенно убитая, но... в конце концов, это же ее право обращаться со своими вещами так, как она этого хочет. Я поднялась с места...

— Пойдите, — задержала она меня. — Вы мне очень симпатичны. Я не хочу отпускать вас ни с чем. У меня есть знакомая, муж

у нее умер, она не прочь начать распродажу коллекции. Это хорошее собрание, может быть, там вы найдете что-нибудь стоящее.

— Спасибо, — я записала адрес, а потом, подумав, протянула свой. — Если вы когда-нибудь надумаете продавать свой фарфор, напишите, позвоните мне... Не делайте, пожалуйста, этого без меня!

— Не знаю... подумаю... Если музею так уж хочется покупать фарфор, то не эти... а вот...

На столике стояла совершенно целая фигурка завода Нифенбург XVIII века.

— Да что вы! — ахнула я. — У какого музея сейчас хватит денег расплатиться за эту фигурку! Берегите ее — это целое сокровище!

— Большая ценность?

— Огромная!

Видимо, не она, а ее муж был настоящим коллекционером, так как Ольга Леопольдовна явно не доверяла моим оценкам.

Через несколько дней я отправилась по адресу, который дала мне Ольга Леопольдовна. Дверь открыла подслеповатая старуха. Мы предварительно договорились по телефону, и мой визит не вызвал у нее возражений. Муж ее был скульптор и специализировался на массовых портретах Ленина. Он был человеком со вкусом и продукцию свою в доме не держал. Деньги от продажи портретов он целиком тратил на пополнение своей уникальной коллекции. После его смерти вздорная старуха насмерть поссорилась с сыном и теперь продавала коллекцию, которую покойник завещал целиком ей, сыну назло... Уже в передней я была ошеломлена портретом Натальи Гончаровой, когда она была еще только невестой Пушкина. Далее пошли вещи, одна другой уникальнее и прекраснее. Окна в большой квартире были распахнуты настежь. Там сидели голуби и клевали зерно, положенное, к моему негодованию, прямо на расписные тарелки заводов Гарднера и Попова. Только было я хотела сделать замечание хозяйке, что-де голуби не разбираются в марках фарфора и что их эстетическое чувство вполне бы удовлетворилось соломенной корзиной, как, взглянув случайно вниз, потеряла дар речи от испуга... На полу тоже стояли тарелки редчайших заводов, и там двигалась очень странная процессия... Если бы я увидела одну мышь, я бы обязательно испугалась и, возможно, пискнула, но тут!.. У Марины Цветаевой, и в сказках я читала о мышах, покинувших город... Эти авторы, видимо, никогда не видели скопища мышей и потому писали о их движении, так сказать, ря-

дами... На самом же деле мыши идут одна за другой, не составляя рядов, а кроме того и движутся они не прямо, а как-то волнообразно... Вот такие два живых орнамента, ошалев от ужаса, я сейчас наблюдала на полу... "Но почему же голуби... не... едят... этих... тварей?" — думала я, окончательно потеряв голову от испуга. — "Впрочем, — так же медленно отвечала я себе, совершенно поглупев, — если это... мыши, то, кажется... голуби... их не... едят"... Удивленная моим молчанием, хозяйка повернулась ко мне. Выпучив глаза и раскрыв рот, я стояла неподвижно, не сводя взгляда с мышей...

— Вы что?!

— Это... это... кто? — спросила я, показывая пальцем на пол.

— Эт-та мышки! — резко ответила хозяйка.

Я очень медленно и осторожно попятилась к двери. С лестницы я спускалась со скоростью ракеты. Оказывается, мышки были страстью хозяйки, из-за них-то она растеряла всех знакомых и посорилась с сыном.

В музее мое сообщение (и без привоза чемодана с фигурками, как мне хотелось) ошеломило сотрудников. "Матрос с балалайкой!" — ахала Светлана. — "Мальчишка-газетчик!"... Даже Попов хватался руками за голову. Один Алексеев сидел, насупившись. Но какое-то время спустя он вызвал меня к себе в кабинет.

— У музея не хватит денег не только на фигурку нифимбургского завода, но и на выкуп серии. Но упускать их мы не можем... Надо сделать так, чтобы она их... добровольно пожертвовала.

— Борис Иванович! Эта женщина отнюдь не выглядит миллионером... С какой стати ей жертвовать!

— Ну-у, как-нибудь так...

— Не знаю как, но я за это не берусь...

— Эту старую дуру надо просто напугать... Даже арестовать можно...

— За что?

— Ну, за незаконное хранение народного добра, — криво ухмыльнулся Алексеев. — Да арестовывать, впрочем, не надо, можно припугнуть...

Какое счастье, что я случайно не назвала имя этой женщины!

— Извините меня, Борис Иванович, — я первый раз прямо пошла против воли начальства, — но эта женщина ничего не украла. Она все покупала на собственные деньги. Она имеет право распоряжаться своими вещами так, как ей захочется.

К моему удивлению, на этот раз Борис Иванович отпустил меня с миром, без скандала. Более того, все последующие дни он был со мною предупредительно вежлив.

И вот в один из этих дней я задержалась на службе, чтобы напечатать несколько писем самостоятельным художникам, с которыми я по-прежнему не порывала связей. Кабинет Алексеева отделяла от меня тонкая фанерная перегородка, и каждое слово, которое там произносили, можно было услышать, не напрягая слуха. Алексеев вел совещание с Поповым.

— Вы дадите Кларе Наумовне указание, — услышала я, — сделать новую экспозицию советского фарфора в течение месяца.

— Она не справится, — послышался ответ Попова. — За месяц такую экспозицию невозможно сделать.

— И это будет как раз то, что нужно, — с плохо сдерживаемой яростью отвечал Алексеев. — Конечно, она не справится. Мы воспользуемся этим и сделаем все так, чтобы она никогда не смогла вернуться к научной работе... Пора остановиться...

Попов не возражал.

Тихо, неподвижно сидела я за своим рабочим столом... Я ощущала в себе какую-то странную пустоту. Я пришла в музей по настойчивому уговору Алексеева, отказавшись от большей зарплаты. Я хотела "набраться ума" у такого крупного специалиста, каким считала Алексеева. Дважды я пыталась уйти с работы и оставалась только после его долгих уговоров. Чего он от меня хотел? Чего добивался? Бессмысленность его злобы, предательство ошеломили меня...

Ни дня не хотела я оставаться больше в музее. Но как это сделать?.. По пятницам у меня был творческий день — я посещала Митрохина. Я решила это утро использовать для переговоров на моей прежней работе — или зайти в Университет народного искусства, где я работала с самостоятельными художниками. До пятницы оставался еще один день, и я решилась "перетерпеть" его в музее.

Тихо, затаившись, сидела я в музее в этот четверг. Работать я не могла и лишь "для вида" бессмысленно перебирала бумажки. Алексеев услали куда-то сотрудников отдела и после обеда явился ко мне в кабинет благостный и сияющий.

— Ну вот, наконец, — сказал он мне, — я сумел убедить этого дурака Попова дать вам настоящую работу, на которой вы развернетесь в полную силу...

Алексеев смотрел на меня с улыбкой, ожидая благодарности. Вся кровь отхлынула от моего лица.

— Боже мой! — сказала я. — Как мне стыдно за вас, как стыдно!.. Уйдите отсюда, ради Бога!

— Но, голубушка! — начал было Алексеев.

— Вон! — закричала я, потеряв остатки самообладания. — Вон! — и запустила ему вслед книжку.

— Сумасшедшая, — стоя за дверью, произнес Алексеев. — Сумасшедшая!

Он вернулся к себе в кабинет и написал на меня донесение директору... А еще через несколько дней я предстала перед общим собранием. Я принципиально не пошла договариваться ни о какой новой работе, потому что хотела полностью ответить на все возводимые на меня обвинения. Теперь я сама хотела откровенного разговора...

Что же ответил Алексеев, когда выяснилась "ошибочность" его обвинений... Очень просто: "Другие сотрудники, — заявил он, — когда их просили, хоть и не выполняли указаний, но никогда прямо не отказывались, а "обвиняемая", хоть и делала много, но часто не соглашалась..."

Но подавая заявление, Алексеев не учел ту меру ненависти, которая накопилась в сотрудниках за годы работы с ним. Они почувствовали, что сейчас можно было разделаться с Алексеевым. Разразилась буря. Борис Иванович сидел испуганный, бледный.

"Кто же останется в музее, — подумала я, — если уберут Алексеева? Куда денется этот старик, если ему предложат уйти... Говорят, что у него и диплома нет..."

Я встала... "Я прошу извинения у Бориса Ивановича за то, что я, человек, более, чем вдвое, его моложе, позволила себе разговаривать с ним так, как я это сделала. Но этому срыву предшествовали следующие события..." И я рассказала собранию о разговоре Алексеева с Поповым.

Дело кончилось ничем. Директор музея, смертельно боявшийся всяких скандалов, отправил меня в давно просимую мной командировку в Поленово, чтобы дать нам время обоим "поостыть".

В Поленово я приехала глубокой осенью. Золотая листва, гонимая ветром, бежала среди аллей, оседала на иглах сосен и елей. Матовой синевой отливала Ока. Меня поселили в "сказочной избушке", выстроенной некогда В. Поленовым для своих детей.

В Поленово меня ожидал приятный сюрприз: оказывается,

В. Поленов собирал абрамцевскую керамику. Я обнаружила несколько тарелок, расписанных И. Остроуховым, фарфоровый пласт И. Левитана, работу А. Матвеева, тарелку К. Коровина — самые неожиданные имена стекались ко мне в руки, но Брускетти здесь не было.

Я была рада, когда кончился срок моей командировки. В музее было тихо. Алексеев болел.

— Наказал Бог Алексева, — сказала мне Светлана, — сбила его машина... Теперь лежит дома... один, как сыч... Друзей нет, с женой на ножах...

— Да, — фальшиво согласилась я с нею.

Но меня кольнуло. Как ни убеждала я себя в идиотской сентиментальности, мысль о том, что Борис Иванович, этот страшный человек, лежит, "как сыч", в своей норе, окруженный книгами, записями, которые он так тщательно прячет от сотрудников, не давала мне покоя. И, в конце концов, я не выдержала: захватив для храбрости молоденькую сотрудницу библиотеки, пошла с визитом к Алексеву. Мы выходили старика... Но верные себе, мы оба, по выходе Алексева на работу, не общались друг с другом, даже приказы свои он отдавал мне теперь через посредников.

Тем временем директору музея исполнилось 60 лет, и он должен был уходить на пенсию. Григорий Павлович Киселев уж совсем не имел никакого образования. Он был "спущен в музей" из обкома партии, где в течение многих лет работал в качестве первого (или второго, точно не помню) секретаря. Григорий Павлович, в общем, был добродушным, незлобивым человеком, но настолько простодушным, что некоторые его почитали прямо идиотом.

— Из крестьян я, — радостно рассказывал сотрудникам Киселев. — До восемнадцати лет верил в Бога и любил ходить в церковь... Ну, а в восемнадцать лет предложили мне записаться в комсомол... А я и спроси: крест носить, в церковь ходить будет можно?

Карьере своей он был обязан "счастливному случаю":

— Там один парень, — захлебываясь, рассказывал Киселев, — написал лекцию против Бога... Память у меня была хорошая — вот я возьми и выучи ее наизусть... Ну, и читать стал везде и всюду... А чтобы меня не спрашивали... в глубинку, понимаете?.. Я что сам понимал тогда? Я дружков двоих привозил с собою. Каждый задавал мне по вопросу, а на остальных уж и времени не хватало!

Он сиял довольный своей находчивостью. "С тех пор я и пошел вверх — за атеистическую пропаганду!"

— А тут еще при Хрущеве, — хвастался он, — выступают секретари с отчетами, а Хрущев их изругал из конца в конец. "Достижения, говорит, мать вашу так"... Присмотрелся я и... когда дошла моя очередь, "каюсь, говорю, товарищи коммунисты... Не все хорошо на моем участке"... И смотрю... молчит Хрущев. Обошлось...

— А за что ругался он? — спросила я.

— Да не выполнили они свои обещания... Безобразно ругался.

— Значит, за дело?

— За дело, не за дело, а разве можно ругать СЕКРЕТАРЕЙ! Да и потом, чего они обещали? Урожай?.. А разве догадаешься, какой будет урожай!

— Тогда зачем же и обещать?

— Как зачем! Обещания давать полагается...

Он понимал это, как обязательную церемонию, своего рода партийные заклинания... А уж что получится?..

Итак в музей приходил новый директор... Большое событие в этом маленьком микрокосме... Сопровождаемая Григорием Павловичем, она появилась в нашем отделе — красивая жгучая брюнетка, не намного старше меня по возрасту. Глаза ее прямо-таки горели. "Вот ваш новый директор", — представлял Баранову Киселев.

Ольга Федоровна была из поколения кагебешных деток. Как некогда городничий Салтыкова-Щедрина, который въехал в вверенный его руководству град на белом коне и, как известно, "разрушил памятник и закрыл гимназию", так и Ольга Федоровна была вся устремлена к действию, неважно какому, но действию. И первой жертвой ее стал Алексеев. В момент прихода нового директора он был опять болен, и Ольга Федоровна навестила его... Хорошая актриса, она вызвала его на откровенность, и старик пожаловался ей на свои беды и болезни. Как бы между прочим она попросила его дать характеристики сотрудникам, и вечно дрожащий за свое место Борис Иванович дал уничижительные характеристики всем тем, кто, по его мнению, мог бы претендовать на его место...

Так Алексеев сам отрезал себе все пути, а Ольга Федоровна, задумав избавиться от него, искусно создавала вокруг Алексеева вакуум, передавая сотрудникам его дикие характеристики, на

которые сама же его провоцировала. Самым непостижимым ей казалось мое поведение. Вопреки всему, я защищала Алексеева. Но умница Ольга Федоровна и тут нашлась:

— Вы, кажется, просили командировку? Куда?

— Как куда?.. В Псков, Смоленск, Новгород, — ничуть не считывая на удачу, перечисляла я...

— Поезжайте.

В Пскове в это время было какое-то нашествие туристов, но мне удалось заполучить каюту в маленьком пароходике, стоявшем на пристани. Всю ночь пароходик чуть покачивался на волнах, а будили меня по утрам часы Псковского Кремля. И то и другое было необыкновенно приятно, но, увы, в музее никто ничего не знал о псковской керамической школе начала XX века. Архив был вечно на запоре, и я уже совсем было собралась домой, но вот однажды, зайдя в музей в обеденный перерыв, увидела во дворе старика, игравшего с ребятишками в футбол. Лицо его в пепельно-серых кудрях очень напоминало лицо постаревшего Блока, а огромные сапоги, да еще летом, казались чужими и маскарадными на тонкой и складной фигуре. "Знаменитость города" Творогов был одним из тех дворян-интеллигентов, которых однажды ни за что, ни про что выслали из Ленинграда. Совсем молодым человеком он оказался в Заполярье, в лагере, где потерял слух. Этот почти совершенно глухой старик, посмешище города, живший с четырьмя собаками, которым он устраивал пикники и дни рождения, был настоящий большой ученый, один из тех праведников, на которых держится мир. Все это я поняла лишь много времени спустя, а теперь, пораженная этим удивительно красивым лицом, вдруг решила с ним заговорить. Творогов поднес руку к уху, выслушал — и повел меня в подвал музея, где он собирал библиотеки купцов-библиофилов, увлекавшихся книжной премудростью. Творогов утверждал, что среда поморов, из которой вышел Ломоносов, была издавна не только свободомыслящей (ведь здесь не знали рабства), но и образованной, грамотной средой. Музейная библиотека была его детищем, он собирал ее самостоятельно, без помощи администрации, часто даже вопреки ей. И конечно же, старик знал о школе Фан-дер-Флита и обо всех людях, когда-либо работавших в керамическом отделе школы. Еще через день у меня была полная информация, и в руках я держала еще несколько работ Алисы Яковлевны, а кроме того мой список художников, работавших в "искусстве глины" в на-

чале XX века, пополнился еще несколькими фамилиями. Творогов познакомил меня с городом, где он знал не только каждый дом, каждую улицу, но и всех людей, чем-либо выделявшихся из окружающей среды.

Мы пришли с ним на археологические раскопки, и студенты, работавшие там, вытянулись, как солдаты перед генералом. "Сам Творогов", — услышала я чей-то шепот. И при всем том это был нищий безумный старик, раздражавший своими чудачествами сотрудников музея, которые все вместе не стоили его мизинца...

Я возвращалась в музей с ощущением завершенности многолетней работы. Что-то сдвинул во мне Творогов, как-то помог собраться.

В музей я прибыла как раз к похоронам Алексева. Изолировав старика от сотрудников, которые почему-либо могли бы его поддержать, Ольга Федоровна начала на него прямую атаку. Алексеев поднялся, чтобы выйти на работу — ведь у него ничего, кроме музея, в жизни не было, — но через день умер от инфаркта.

Единственным человеком, который плакал на похоронах Алексева, была я. Я никак не могла себе представить, что человека, отдавшего более тридцати лет своей жизни служению музею, можно вот так просто выкинуть из жизни... как ненужную старую тряпку... на помойку...

Через несколько дней Баранова предложила мне отчитаться о работе по сбору материалов о Брускетти-Митрохиной. Мы собрались. "Дочь итальянского инженера, работавшего в России по договору, — рассказывала я, — Алиса Яковлевна Брускетти кончила русскую гимназию и продолжила образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Она считала себя русской подданной, а русский язык — родным языком"... Я предложила вниманию собравшихся 22 новых, никогда прежде не публиковавшихся работ Брускетти-Митрохиной. Рядом с классиком советской фарфоровой фигурки Н. Данько, я поставила еще одну художницу, ничуть не уступавшую Данько, а во многом даже ее превосходившую...

Восторженно слушавшая меня Баранова сразу же после отчета немедленно отменила мой творческий день...

\* \* \*

Иногда меня спрашивают: "Если бы я знала, сколько неприятно-

стей, прямых хулений принесет мне мой "подарок" "великому русскому" народу — во-первых, переосмысленная трактовка периода конца XIX—начала XX века; а во-вторых, 49 новых фамилий, никогда не упоминавшихся в истории русской керамики, — стала бы я это делать?" Пожалуй, я не могу себя ни в чем серьезном упрекнуть. Я осмотрела едва ли не все столичные и пригородные музеи Союза, я познакомилась в процессе работы с замечательными людьми — учеными, писателями, художниками, коллекционерами... Правда, три четверти моих работ я выбросила на помойку (в ответ на упрек: "Зачем вы, евреи, лезете в русскую культуру?") и их могут прочесть только мыши, но я ни о чем не жалею. А может, все это вообще не нужно России?.. Ходят слухи, что сейчас в СССР увлекаются языческим прошлым Руси — в противовес христианству (еврейской ереси). Ну, что ж. Суворин, которого никак нельзя упрекнуть в симпатии к евреям, писал в своих популярных книжках о языческой дикости допетровского времени, следы которого еще не целиком исчезли даже во времена Екатерины II... Может быть, в этом, скажем мы вслед за Васисуалием Лоханкиным, и есть "сермяжная правда"?

Высоко на палке сидящий Ярило,  
Яри мя, яри мя, яри мя, яри мя...  
С. Городецкий

*К. Пруслина — искусствовед, автор ряда научных и популярных работ и многочисленных статей в советской печати; в Израиле с 1978 г.; живет и работает в Иерусалиме; в 1983 г. выпустила книгу воспоминаний "Вместо хлеба".*

**Новая книга**

**Клара Пруслина. Вместо хлеба (сборник рассказов)**

**226 стр.**

**8долл.**

Рассказы Клары Пруслиной — это странички воспоминаний, увлекающие удивительной разговорной манерой автора, драматичностью жизненных поворотов ее судьбы, искренностью интонации и неподдельным трагизмом.

Заказы и чеки принимаются по адресу:

K. Pruslina, Gilo 52 ap. 62, Jerusalem 93743, Israel

Виктор Богуславский

## НОВАЯ ИУДЕЯ

(Б. Ефимов. "Второй Израиль для территориалистов?", Мюнхен, 1981)

Все, я думаю, помнят грустную историю о еврее, отчаявшемся выбрать путь миграции и вопрошающем: "А нет ли у вас другого глобуса?.."

Рассказывающие эту историю, как правило, подозревают, что другого глобуса не существует, и посему считают этот вопрос анекдотом.

Проживающий ныне в Мюнхене бывший советский гражданин Борис Ефимов полагает, напротив, что другой глобус вполне можно либо найти, либо сделать, а посему заданный тем евреем вопрос воспринял вполне серьезно, как призыв к созданию новой геополитической программы, и — более того — ощутил именно себя призванным программу сию разработать и реализовать.

Чему и посвятил изданную на собственные деньги книгу "Второй Израиль — для территориалистов?".

С первой же буквы обнаруживается родство душ автора и того, вопрошавшего о глобусе, — первая глава называется "А (!) существуют ли территориалисты?" (Вполне в национальном стиле, не правда ли, а?)

Выясняется — существуют. "А (!) я, по крайней мере, одного настоящего территориалиста знаю — его зовут Борис Ефимов... А (!) если есть на Земле хоть один территориалист, то существует и территориализм" (стр. 11).

Итак — есть территориалист, есть (его) территориализм, остается найти (ему) всего лишь пустячок — территорию, для которой автор уже и название заготовил — "Новая Иудея". "Лучше всего было бы найти остров" (стр. 10).

Борис Ефимов старательно облазил глобус, "территории" ("острова") не обнаружил, но в уныние не впал. "Но тогда такой остров можно создать (стр. 10), — сказал он. — Нужно только... насыпать искусственный остров, используя для доставки камня, гравия, песка и земли самоходные баржи" (там же).

Обсуждая технические подробности, Б. Ефимов набредает на поистине эвристическую идею:

"В принципе можно вообще соорудить плавающее государство Новая Иудея... Такое государство может и вообще не иметь постоянного местонахождения, а крейсировать (!) в мировом океане". (Был жид пархатый, будет жид к р е й с и р у ю щ и й !!!) "Тогда, — продолжает он, — жители Новой Иудеи смогут путешествовать в течение всей своей жизни, ...не покидая своего дома и без дополнительных затрат. Подвижность Новой Иудеи будет способствовать ее торговле с другими странами. Кроме того Новая Иудея сможет "уходить" от плохой погоды" (стр. 71).

“Плавающие острова... возможно будут использоваться специально для абсорбции иммигрантов. Когда один из таких островов станет на якорь, скажем, у берегов Франции, то те французские евреи, которые являются потенциальными иммигрантами, смогут пожить еще некоторое время, не порывая с Францией, в привычном климате, посещая родные места в свободное время” (стр. 71).

Так что техническая сторона переделки глобуса автором решена. Коммерческая оказывается и того проще: “...денег в мире — хоть отбавляй, некоторые просто не знают, что с ними делать, и часто делают глупости. Так что любая здравая идея может получить финансовую поддержку, при условии, что она хоть в какой-то мере популярна” (стр. 73).

Порешив таким образом проблему материально-технического базиса, Б. Ефимов не забывает и об идеологической надстройке:

“Я думаю, что заранее нужно оговорить лишь два принципиальных условия, без выполнения которых все это предприятие просто теряет всякий смысл: 1) Организация должна строиться по демократическому принципу, и Новая Иудея должна быть подлинно демократическим и плюралистическим государством (я могу разработать проект Конституции Новой Иудеи на основе предложений к проекту Конституции СССР, которые я представил в Верховный Совет СССР в 1971 году; разработанная мною Конституция, по-моему, — одна из самых демократических в мире (именно поэтому, наверное, мои предложения и были при составлении новой Конституции СССР оставлены без всякого внимания); 2) Должна быть установлена квота, в соответствии с которой иммигранты из стран Свободного мира должны составлять не менее, скажем, 70 процентов населения Новой Иудеи. Иначе будет существовать опасность, что СССР пошлет в Новую Иудею под видом иммигрантов столько своих агентов, сколько нужно, чтобы обеспечить компартии победу на выборах — причем все эти агенты будут иметь еврейские метрики (некоторые из них, возможно, действительно будут евреями) и будут обрезаны по всем правилам иудаизма (чем только не пожертвуешь, если партия прикажет!), и установить их подлинную национальность будет абсолютно невозможно. А ради того, чтобы на свете стало одним коммунистическим государством больше, всю эту кашу вообще не стоит заваривать”.

Покончив на 79 страницах с предметом географией, вторую половину своей книги Б. Ефимов посвящает предмету истории. На 80 следующих страницах довольно много историй и совсем мало Истории. Впрочем вторая глава и называется “Немного истории”.

Вот такая книжка. Книжка, на мой взгляд, любопытная чрезвычайно. Я бы назвал ее — книгой эпохальной. Да.

Это определение ни к достоинствам книги, ни даже к ее содержанию никакого отношения не имеет. Определение относится к во плю. Тому одинокому, одичалому, отчаянному воплю безысходности, каким каждая эпоха обозначает свой конец.

Эпоха талмудизма закончилась хасидским воплем Бешта. И началась эпоха еврейского Просвещения. Ее конец обозначила наполненная до краев истерическим воплем безвыходного отчаяния книга Отто Вейнингера “Пол и характер”. Книга эта дилетантской бредовостью своей концепции и полнейшей недостоверностью ссылок на факты очень напоминает по характеру

книгу Б. Ефимова. Но не только это ставит его "Второй Израиль" в тот же разряд книг эпохальных, а и сам исторический момент.

Эпоха нашего Просвещения закончилась с началом эпохи наших иммиграций. Б. Ефимов подрос к концу эпохи, опробовал все концы света, все географические, политические и экономические уклады — и все плохо. При всем его, постоянно подчеркиваемом, пиетете к Израилю — все-таки преуспевшие территориалисты — он и эту территорию не хочет: невыносимое, по его мнению, напряжение "жизни на вулкане" делает всех израильтян страшными экстремистами. (Судя по его высказываниям, так действительно и Йоси Сарид, и Ури Авнери с Эйби Натаном\*, по сравнению с ним, оголтелые "ястребы" — ведь никто из них не предложил платить палестинским арабам пожизненные пенсии, как компенсацию за наше "вторжение").

Еврей хочет быть добрым, ласковым и... благоустроенным.

Так давайте же, евреи, насыпем холмик в океане.

Может, он простоит на этом дурачком, доставшемся нам Глобусе хоть минуту, этот могильный холмик нашего еврейского благополучия?!

Юлия Винер

### ХОЧЕТСЯ ОСВОБОДИТЬСЯ

(Альбер Мемми "Освобождение еврея", перев. с фр. С. Тартаковская, "Библиотека Алия", Иерусалим, 1983)

Едва выйдя из младенческого возраста, еврей замечает, что с ним что-то не в порядке. Конформист, как всякий ребенок, он хочет быть "как все". Но "все" почему-то дает ему понять, что нет, он не такой и — хуже. Ребенок-еврей смотрит в зеркало и сперва не видит ничего, кроме черт, положенных человеку, но со временем приходит к выводу, что в зеркале не просто лицо — а лицо еврея. Он начинает следить за своим поведением и, конечно, обнаруживает, что это поведение еврея. Он пытается анализировать свои умственные способности и, даже обнаружив, что они недурны, остры и гибки, заключает, что это, хотя и предмет гордости и довольства, однако же чисто еврейское качество, и что туповатость иного не-еврея, может, куда предпочтительнее и удобнее. Разумеется, он давно заметил, что его имя и фамилия звучат для окружающих чуждо и частенько нелепо, и, если не найдется в нем сил сознательно с этим бороться, то он и сам будет в душе стесняться их. Поначалу ему будет казаться, что все это неприятное положение случайно и, если постараться, из него можно найти выход. Подросши, он обнаружит перед собой два кажущихся выхода.

Один — решительно пренебречь неблагоприятным отношением "всех", найти в своем еврействе источник гордости и чувства превосходства, презирать "всех" так же, если не более, нежели они презирают его, видеть в них врагов и низшие существа, в себе же единственно подлинное создание божие. Сделав такой выбор, еврей обнаружит, что жить ему нравственно удоб-

---

\* Известные израильские "левые".

нее, если же при этом отрезается большая часть связей и нематериальных контактов с остальным человечеством — что ж, это цена, которую он готов платить.

Второй выход гораздо сложнее, более трудоемок и мучителен. Еврей решает не отказываться от своего детского стремления быть “как все”, и прилагает к этому сознательные усилия. Он меняет фамилию, покидает свою среду, воспринимает культуру и обычаи окружающих его “всех” с энтузиазмом, превосходящим даже их собственный, зарабатывает много денег и такое положение, где, кажется, стираются все расовые и национальные различия, или, напротив, включается, как в свое кровное дело, в борьбу угнетенных слоев окружающих его “всех” и даже возглавляет ее. Он (она) сочетается браком с представителем “всех” с тем, чтобы уж дети-то наверняка освободились от позорного клейма. И порой решается на отчаянный шаг — меняет свою веру (которой частенько и нету изначально) на веру “всех”.

Почему евреи делают все это? К чему стремятся? Чего надеются добиться? Они хотят, говорит Альбер Мемми в своей книге “Освобождение еврея” — освободиться. И говорит справедливо. Какой же еврей, кроме самых закостеневших в мазохизме или в наплевательской гордыне, не хотел бы освободиться — от унижений, от пренебрежения, от насмешки, от недоброжелательности (это все, разумеется, в самом благополучном и цивилизованном обществе, о прочем что уж и говорить?) И как же ему это сделать? Первый кажущийся выход, пресловутая позиция “весь мир против нас”, освобождением, естественно, не назовешь, и его автор касается меньше. Внимание его сосредоточено на еврее более или менее ассимилированном. Способы, к которым прибегает еврей в своем стремлении “освободиться”, описаны Альбером Мемми блестяще: остроумно, с нужной мерой злости и насмешки, с неменьшей мерой грусти и сострадания. С тем же блеском и аналитической остротой доказана и бесперспективность этих способов, и причины этой бесперспективности. Читаешь, и только успеваешь кивать: ну как же, и мы это пробовали, или наши друзья, или недруги — и ничего из этого не вышло, какое уж там освобождение, пока все хорошо, и нам вроде ничего, а как коснись до чего, так жида отовсюду вытащат, и из-под хорошей фамилии, и из-под смешанного брачного одеяла, и с самого высокого поста, и из самого толстого денежного мешка, и из самой прогрессивной революционной бучи — вытащат, стряхнут навешанные на себя жидом цацки и, даже если не побьют, то все же скажут поучительно: что он, видите, жид, а чем прикинулся...

В этом смысле книга Альбера Мемми, тунисского еврея и французского писателя, и в назидание хороша, и в подтверждение наших собственных мыслей. Неясными остаются только два пункта — но, увы, с нашей точки зрения наиболее существенных, ради которых мы и книгу стали читать — а вдруг и впрямь он открыл, как еврею освободиться?

Первый вопрос, который и всегда-то нас занимал, а тут начал вертеться в голове чуть не с первых страниц: за что же, за что еврея так не любят (а не любят, никуда не денешься, иначе и освободиться было бы не от чего)? От чего освободиться? Не от еврейства, это ясно, от него освободиться, как автор доказал, и невозможно, а главное, и не надо, нехорошо, недо-

стойно. Тогда, может, от внешней "еврейскости"? А как же эту "еврейскость" отделить от еврейства, эту нашу чудную религию, эти все обычаи и манеры, этот наш диковинный темперамент, эту гордыню и самоуничтожение, эту пророческую пронизательность и самодовольную близорукость? Нет, пожалуй при таком освобождении от нас самих ничего не останется. Или имеется в виду освобождение извне, т. е. это не мы должны освободиться, а "все" должны освободить нас от своей предвзятости к еврею? Так ведь тогда опять на старого конька, столько раз нас подводившего, садиться надо, т. е. опять переделывать мир... Нет, автор и этот способ для еврея тоже убедительно отвергает. Тогда от чего же, от чего же? Вот тут-то и заковыка; и автор знает, и мы отлично знаем, что освободиться надо, решительно необходимо, а вот пальцем прямо указать, от чего — ни мы, ни он пока не сумели.

Потому, видно, и второй важнейший пункт, а именно — решение этой проблемы, остается в некотором тумане "желаемого" и для автора, и для нас, хотя подводит он нас к этому решению очень логично. Да мы и сами, не читая книги, решили ее в том же плане: приехали сюда, в Израиль, считая, как и Альбер Мемми, что освобождение еврея — в создании национального государства. Тут-то и началась неясность: произошло освобождение еврея с созданием национального государства, или нет? Или произошло, но не вполне? И если не вполне, то когда, при каких условиях произойдет? И в чем именно будет заключаться? Но мы слишком много требуем от автора. Ответ на это, видимо, может дать не логика, а одна лишь действительность.

*Яков Ашкенази*

## ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

*(Краткая еврейская энциклопедия, том 2, Габбай — Измир. Главные редакторы Ицхак Орен (Надель) и Михаэль Занд, зав. редакцией Э. Сливкина. Общество по исследованию еврейских общин. Иерусалим, 1982).*

Как создаются энциклопедии, известно. Организуют издательство с огромным штатом и — прежде всего — огромным количеством технических работников: секретарш, машинисток, курьеров, не считая редакторов, корректоров, вычитчиков и т. п.; определяют приличные гонорары и щедрую смету заработной платы; занимают вместительное помещение, лучше всего — многоэтажный дом, чтобы каждому был отдельный кабинет, чтоб была большая справочная библиотека; затем устанавливают деловые отношения с несметным количеством консультантов и будущих авторов, каковые консультанты и авторы счастливы согласиться на работу, поскольку за нее щедро платят; и наконец, подготовив такую солидную материальную базу и обеспечив себя кадрами, приступают к работе.

"Анахну — бедная страна!" — говорит мой знакомый. Краткую еврейскую энциклопедию на русском языке создает кучка энтузиастов, каждый работает за двадцатерых, каждый исполняет много ролей и функций. Они

работают в нескольких комнатах Иерусалимского университета, зарплата их не так уже велика, а работы непереворот. Но они работают. И вот — выпустили второй том.

Еврейская культура в диаспоре создавалась на разных языках. В конце XIX-начале XX веков большинство евреев жило в странах Центральной и Восточной Европы, и русский язык был одним из тех, на которых создавалась тогда наука о еврействе. "Еврейская энциклопедия" на русском языке впервые вышла еще до первой мировой войны, в период расцвета деятельности русского еврейства. Затем была война, революция, еще одна война — гражданская, и послереволюционные годы, и "Еврейская секция при наркомате национальностей", и снова война — мировая, и Катастрофа европейского еврейства, и "дело врачей", и — поныне продолжающийся — разгул антисемитизма в СССР. Все перечисленное отнюдь не способствовало развитию иудаистики.

Тем временем на Западе вышли "Еврейская энциклопедия" на английском языке, и энциклопедия на иврите, и горы разнообразных книг о еврействе и евреях. Советским евреям все это было — и до сих пор остается — недоступным по ряду известных причин. Со своей стороны, евреи на Западе ничего не знали о советских евреях.

Алия из СССР создала необходимую ситуацию: советские евреи получили возможность узнать о своих братьях на Западе и рассказать о себе. Эта возможность — и потребность — породили "Краткую еврейскую энциклопедию" (КЕЭ) на русском языке. Она продолжает деятельность высланных и расстрелянных, погибших в тюрьмах и лагерях, сгоревших в огне Катастрофы. КЕЭ дает сведения о евреях и еврействе на современном уровне изучения этого вопроса, дополняя тем самым первую энциклопедию. Но сопоставляя словники и статьи этих двух изданий, следует учитывать, что первое было в 16 томах, а создателям второго приходится строго отбирать, потому что КЕЭ выходит в 6 томах; она и называется "краткая". В эти 6 томов нужно вместить все, что произошло с еврейством за 60 лет, включая 35 лет существования еврейского государства.

Читатель КЕЭ обнаружит, что некоторые сведения, которые первая энциклопедия сосредотачивала в отдельных статьях, во второй как бы разлиты на всем ее пространстве. Но читателя это не затруднит, потому что весь том читается залпом, настолько ясным языком написаны статьи. Сравнивая две энциклопедии, читатель увидит также, что в первой перечислено куда больше стран, городов и земель, где жили евреи, включая еврейские местечки Восточной Европы. То была особая, своеобразная, удивительная жизнь — с общинными учреждениями, ешивами, знаменитыми на весь мир, со своим укладом. "Делягин — местечко в Галиции, в начале XX века 3000 евреев... Единицы — местечко Хотинского уезда Бессарабской губернии, жителей 10.211, из коих евреев 7397..." Так было до революции, до гражданской войны, до Катастрофы. Теперь этих местечек нет, они мертвы, сейчас это районные городишки, одинаково сходные не только стандартными домами, но и отсутствием евреев. На некоторых страницах первой энциклопедии — до десятка названий таких местечек; во второй вы их почти не найдете. А если и найдете, то в конце статьи прочтете горькие слова: "Еврейская община прекратила свое существование".

Читая некоторые персоналии первой энциклопедии, а затем их продолжения — во второй, можно увидеть, что многие оставшиеся после революции в советской России и даже избежавшие гибели в Катастрофе, закончили свою жизнь если не в 37-м, то в 52-м году. А вот уехавшие — успели пожить и еще много сделать.

Особенно много рассказано во второй энциклопедии о русском, вернее — советском еврействе, его литературе, театрах, учреждениях, общинах. Информация о неашкеназийских общинах в СССР (грузинской, горской, бухарской) уникальна: ее нет нигде и ни на каком языке, ее можно найти только в КЕЭ.

Второй том КЕЭ содержит большие, внимательно и тщательно написанные статьи о гебраистике, еврейской демографии, об Израиле, о языке иврит, о Иерусалиме. Впервые на русском языке обобщен материал о новой литературе на иврите. Отражен процесс расселения евреев в разных странах мира после двух мировых войн. Названы новые имена в еврейской культуре, еврейской жизни, появившиеся в тот 60-летний период, правду о котором от советских евреев скрывали и скрывают (в СССР) поныне.

Может быть, рано говорить о значении КЕЭ в совокупности — работа еще продолжается. Но можно уже и сейчас сказать, что это издание является значительным событием еврейской культуры. И возможно, если возродится еврейская культура в России, эта энциклопедия станет крупным и важным событием также русско-еврейской культуры.

*Эдуард Капитайкин*

## ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МАЯКОВСКОГО

*(Семен Черток. "Последняя любовь Маяковского". "Эрмитаж", США, 1983)*

*"Мы,  
хранимы в рамках времен,  
мы любовь на дни не делим,  
не меняем любимых имен".*

*В. Маяковский*

С обложки книги смотрит на нас очаровательная молодая женщина. Это Вероника Полонская, актриса Московского Художественного театра, с которой Маяковский был близок в последний год жизни — с апреля 1929-го до апреля 1930-го года. Он умер из ее руках.

Особый колорит придает книге Семена Чертока приложение — воспоминания В. В. Полонской. (Написанные в 1938 году, они впервые были опубликованы исследователем со вступительной статьей и комментариями в прошлом году в журнале "Континент" — из этой публикации и родилась книга). Воспоминания Полонской — это рассказ о любви. Только о любви. Должен признаться, что ничего более честного, чистого и искреннего мне не приходилось читать о Маяковском. Рядом с бесхитростным рассказом Полонской

особенно нестерпимыми становятся фальшь, недоговоренность или прямая ложь большинства "официальных" советских воспоминаний о Маяковском.

Но название книги С. Чертока имеет двойной смысл. Это не только любовь Маяковского к Веронике Полонской, но, может быть, прежде всего, — неразделенная любовь поэта к Революции. Трагедия искренней любви Маяковского к советской власти, которой он служил верой и правдой и которая его обманула, оттолкнула, постоянно преследовала, а после гибели, приспособив к себе, фальсифицировала.

В книге С. Чертока с документальной точностью и подробно, день за днем, воссоздан неуклонно ведущий к смерти последний год жизни поэта. Небольшая по объему работа вобрала в себя огромный материал: собственные высказывания Маяковского, его письма, выступления, статьи; мемуары — и опубликованные и неопубликованные; архивные документы; записи бесед автора с людьми, близко знавшими поэта.

Здесь нет сенсационных открытий. Но, пожалуй, впервые неоднозначно объяснены мотивы самоубийства Маяковского. И, главное, раскрыт механизм подмены, произведенной советской властью, которая всегда, со времен Ленина, относилась к нему недоверчиво и враждебно, а после его самоубийства скрылась под псевдонимом покойной "рапповской" критики.

Одна из важных тем книги С. Чертока связана с антисемитской кампанией, поднятой журналом "Огонек" в 1968 году в связи с выходом тома "Литературного наследия" ("Новое о Маяковском") и направленной против Л. Ю. и О. М. Бриков, с которыми Маяковский и творчески, и лично был связан всю свою сознательную жизнь.

Меньше всего книгу С. Чертока можно назвать академическим исследованием. Жанр ее трудно определить. Это и литературоведение, и журналистика, и темпераментная публицистика, продиктованная любовью к истинному, живому Поэту, до сих пор похороненному у себя на родине под многопудым кибальниковской бронзы.

*Михаил Агурский*

## **ЗМАНИМ (ВРЕМЕНА)**

Ежеквартальный исторический журнал Тель-Авивского университета "Зманим" издается, начиная с 1980 г. Это популярный иллюстрированный журнал. Его редакторами являются Шауль Фридлендер и Хаим Шакед. Тематика журнала исключительно разнообразна. Она включает в себя все исторические периоды, страны и материки. Поскольку журнал издается в Израиле, то, естественно, одна из его основных тем — еврейская история, но она не превышает 25—30% объема каждого номера. Чтобы составить себе представление о характере журнала, достаточно привести названия некоторых его статей: Шауль Фридлендер "19 век и конец человечества" (о различных предсказаниях конца мира в 19-м веке); Шуламит Шахар "Женщины в богословии и религиозной общине Средних веков"; Аарон Шай "55 дней в Пекине" (о боксерском восстании в Китае в начале 20-го века); Яков Шавит "Демография — меланхолическая наука"; Уриэль Таль "Альберт

Эйнштейн — враг религиозного и национального фанатизма". Русской тематике пока посвящена одна публикация, но зато такая, которая заслуживает отдельного обсуждения. Речь идет о статье профессора Тель-Авивского университета, известного историка Михаэля Конфино "Солженицын — художник как историк". (Конфино известен как исследователь послепетровской России и русского анархизма). В статье ставится вопрос: можно ли на основании книг Солженицына "Ленин в Цюрихе" и "Август 1914" считать их автора историком, каковым безусловно считает себя сам Солженицын? Конфино пользуется в своей статье не только указанными книгами Солженицына, но и всеми его публицистическими статьями, опубликованными за последние годы. Точка зрения самого Конфино — строго позитивистская. Конфино ставит ряд вопросов. Каково, например, место интуиции и документа в историческом романе? Солженицын, говорит Конфино, не может с точностью знать, что именно думал генерал Самсонов или же Ленин. Он может лишь с помощью интуиции реконструировать их мысли, но такая реконструкция не может претендовать на то, чтобы быть историческим документом. Конфино понимает, что Солженицын исходит из другой теории познания. Солженицын считает, что человек, одаренный духовным видением и подлинным религиозным мировоззрением, может непосредственно созерцать истину, в том числе и историческую. Такая истина не может быть добыта привычными научными методами. Но с этим Конфино никак согласиться не может и предпочитает поэтому считать романы Солженицына выдающимися художественными произведениями, но не самой историей. Солженицын далее рассматривает историю как борьбу между добром и злом и требует от каждого историка различать эти силы в исторических событиях. Конфино же утверждает, что это в очень многих случаях просто невозможно сделать. На чьей стороне, например, спрашивает он, были силы добра и зла во время тридцатилетней войны в Германии в 17-м веке? Далее он утверждает, что концепция "греха и наказания" в истории, которой придерживается Солженицын, не может быть прослежена. Она лишь дает простор для произвольных толкований.

Как и многие современные историки, Конфино вообще подвергает сомнению наличие исторических законов, а тем более уроков, которые можно извлечь из истории. Если история иррациональна, а именно это утверждает Солженицын, то как вообще, говорит Конфино, можно из нее извлекать уроки? Конфино отрицательно относится к самой возможности параллелей между различными историческими периодами, как, например, между Россией начала 20-го века и современной Америкой.

Возражения Конфино можно умножить, но все они, надо подчеркнуть, лишены какой-либо враждебности и пристрастия. Как историк, Конфино пытается лишь выяснить, может ли быть принято то, что говорит Солженицын, как историческая наука. Между прочим, он не повторяет измышления об антисемитизме Солженицына, хотя и касается его взглядов на участие нерусских в большевистской революции. На основании того, что говорит Конфино, можно сделать следующий вывод. Солженицын и Конфино существуют, можно сказать, в различных измерениях. Подход Солженицына, — религиозного мыслителя, уверенного в том, что можно познавать иррациональные события, что можно рассматривать историю, как религиоз-

ный процесс, развивающийся к определенной цели, — несовместим с позитивистской методологией современной исторической науки, которая все это решительно отвергает.

Но если эти подходы рассматривать в более широких рамках, они друг друга не исключают, являясь разного рода усилиями постижения истории, которые, вероятно, не надо смешивать. Можно, однако, заметить, что если бы Конфино подверг столь же строгому методологическому анализу многие произведения современной исторической науки, в частности, посвященные России и СССР, он бы легко убедился, что никакая строгая научная методология не спасает историков от грубейших заблуждений. Существует слишком много путей, позволяющих, сосредоточившись на мелочах, отбросить как неудобные факты, так и общие концепции. Хорошо сказал по этому поводу Ален Безансон: "Слишком много энергии мобилизуется на то, чтобы сдерживать эмоции, спонтанно вспыхивающие в процессе (исторической) работы, чтобы держаться вдали от нивы творческой деятельности, ныне печально опустошенной".

Солженицын бросает вызов такому подходу, вызов, от которого историческая наука уйти не может. Но ни той, ни другой стороне не удастся подавить друг друга. Оба подхода к истории так и останутся в человеческом обиходе. Надо только, чтобы обе стороны учились друг у друга и никогда не шли бы без оглядки по пути, который может завести в тупик.

#### Новая книга

**Ирма Хайнман. Еврейская диаспора и Русь.**

Учет влияния евреев, отошедших от иудаизма ("Рош", "раша"), на историю развития юга России позволил предложить гипотезу происхождения "Руси", создавшей Киевское гос-тво.

Цена в Израиле 3 доллара, за рубежом 6 долларов (плюс 1 доллар за пересылку). Чек высылать на имя I. Haynman, Burla Str. 53/32, Beersheva 84750, Israel.

## ПУБЛИКАЦИИ

*Перец Маркиш*

### МИХОЭЛСУ — НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

(публикация и предисловие Э. Маркиш)

С Соломоном Михоэлсом Маркиш познакомил меня в 1929 году. Он пригласил меня тогда в Московский еврейский театр. Шел спектакль "200.000", Михоэлс играл в нем Шимеле Сорокера. В антракте Маркиш повел меня за кулисы. Я немного волновалась — вот сейчас я познакомлюсь с самим Михоэлсом!

Михоэлс поразил меня своей внешностью. Он был некрасив, на крупной голове, сидевшей на короткой шее, выдавался сильно вперед неправильной формы подбородок с далеко отстоящей нижней губой. Коренастое, плотное, короткое туловище скрывало в себе значительную физическую силу. Горячие, грустные, насмешливые глаза жили словно бы отдельно от лица жизнью. Михоэлс глядел на меня с доброй иронией, уловив, должно быть, мое смущение, граничившее с испугом. Но первые же, ничего, быть может, не значащие слова, произнесенные им, заставили меня забыть о его необычайной внешности: он располагал к себе, внушал доверие интонацией голоса, строем мысли. И несомненным ироническим самокритицизмом.

Несколько лет спустя, в 1934-м году, я случайно оказалась на одном теплоходе с Михоэлсом. Мы плыли в Сочи. Михоэлс был подавлен, почти мрачен: незадолго до этого он похоронил свою жену, актрису Женю Левитас. На похоронах мы с Маркишем были потрясены почти нечеловеческим горем Михоэлса. Михоэлс готовил тогда "Короля Лира", и горе короля накладывало отпечаток на горе актера.

В Сухуми всех пассажиров теплохода повезли смотреть знаменитый обезьяний питомник. Поехал и Михоэлс — без особого интереса, за компанию. Мы шли рядом по комнатам питомника, скучая среди таблиц, диаграмм, рисунков. Вдруг Михоэлс остановил меня

— Что же это ты проходишь мимо моего портрета? — В рокошущем голосе за моей спиной слышался сдержанный, почти торжествующий смех.

Я остановилась — на стене против меня висела большая картина маслом: портрет шимпанзе. Я смущенно молчала.

— Но это же копия! — с наигранным восхищением сказал Михоэлс. — Ты не находишь?

Я вежливо улыбнулась. Михоэлс развеселился, собственная шутка вывела его из угнетенного состояния.

А вскоре после возвращения с Кавказа я снова вспомнила похороны Жени Левитас. Тогда, на похоронах, в крематории, горе Михоэлса потрясло всех, кто пришел проводить покойную. В немой, бешеной скорби, в скорби человеческого бессилия перед смертью, Михоэлс, одному ему присущим жестом, подносил к стиснутым губам сведенные судорогой пальцы правой руки... Это было страшнее плача, страшнее мужских рыданий. И осталось в памяти как крайний предел страданий и душевной боли.

На премьере “Короля Лира” мы с Маркишем видели тот же жест беспредельного отчаяния — только не Женя Левитас лежала в гробу перед Михозлсом, а мертвая принцесса Корделия перед осиротевшим Лиром. Мне стало страшно, я взглянула на Маркиша. Он подавленно, тихонько кивнул головой: он также вспомнил, узнал. Я видела, что это перенесение личного горя в искусство поразило его, смутило его душу.

Михозлс-Лир — это была настоящая буря в театральной Москве. Критика назвала Михозлса “лучшим Лиром века”. Этому немало способствовала сцена “Смерть Корделии”.

Для стиля отношений между Маркишем и Михозлсом характерна история, случившаяся в начале 1939-го года. Газета “Правда” попросила тогда Маркиша выступить с публицистической антифашистской статьей, и Маркиш, написав ее, отправил статью в редакцию. За день до выхода статьи, утром, раздался телефонный звонок. Маркиш, как всегда, в эти часы работал и к телефону не подходил, так что на звонки отвечала я. Я сняла трубку и услышала взволнованный голос Михозлса:

— Где Маркиш?

Узнав, что звонит “Старик”, Маркиш взял трубку. А десять минут спустя вышел из кабинета.

— Я уезжаю в театр, — сказал он. — Старик просит. Ему через полтора часа выступать на митинге — надо помочь.

Через полтора часа Маркиш позвонил мне, сказал:

— Включи радио. Старик сейчас будет говорить.

Я включила — и обомлела: Михозлс читал статью Маркиша, написанную для “Правды”. Не успел он закончить — снова звонок, на сей раз из “Правды”.

— Где Маркиш? Что он сделал — ведь Михозлс читал на митинге его статью, уже поставленную в номер! Такая статья!..

Скоро вернулся Маркиш, и я рассказала ему о звонке из “Правды”. Маркиш озорно улыбнулся:

— Это все чепуха. Но ты слышала, как великолепно Старик читал?!

Вечером в театре шел “Лир”, а мы по традиции никогда не пропускали этот спектакль — если только были в Москве. Не обязательно было смотреть до конца — надо было зайти к Михозлсу за кулисы.

Мы пришли в его уборную. Михозлс был на сцене. Из репродуктора внутренней радиосети театра доносились слова Лирова монолога... Наконец открылась дверь и вошел Михозлс — в тяжелом костюме, усталый, измотанный. Вошел и бросился к нам:

— Вы только посмотрите! — указал он на стол, на котором лежала целая кипа телеграмм. — Это все поздравления с сегодняшним выступлением!.. Так неудобно — не знаю, что и делать.

Маркиш посмеивался, словно именинник, глаза его светились: он был по-настоящему рад, что “выручил” Старика.

.. 18-го января 1948 года я вела урок французского языка в театральной студии Еврейского театра. В класс стремительно вошел заведующий учебной частью:

— Вас срочно вызывают в дирекцию!

“Что-нибудь случилось с детьми!” — лихорадочно думала я по дороге. Директор сидел за столом — растрепанный, страшный, серый, как замазка.

— Что случилось? — закричала я, понимая, что произошло что-то катастрофическое.

— Погиб Старик, — сказал директор. — Попал под машину. Подробности нет...

В студии были прерваны занятия, студентов и педагогов отпустили по домам. Не успела я придти домой, как зазвучал прерывистый зуммер междугороднего телефонного вызова. Звонила из Минска моя близкая приятельница Ирина, жена генерала Трофименко, командующего Белорусским военным округом.

— Все правда, — сказала Ирина. — Михозлс погиб.

Назавтра мы с Маркишем пришли на Белорусский вокзал — встречать Старика.

Труп Михозлса в цинковом гробу отвезли в Еврейский театр — прощание должно было начаться в 12 часов дня. Толпы людей, пришедших проститься с великим актером, с самого утра осаждали театр.

Мы с Маркишем ждали в фойе. Уже после двенадцати Маркиш стремительно взбежал по лестнице в зал, где профессор Збарский, бальзамировавший когда-то Ленина, что-то делал с Михозлсом.

Малое время спустя Маркиш вернулся в фойе. Он был бел, как снег.

— Не подымайся туда! — Маркиш указал на закрытую дверь зала. — Ничего общего со Стариком!

До пяти часов вечера Збарский “чинил” разбитую голову Михозлса, стараясь придать ей человеческий вид. В пять часов толпы с улицы хлынули в театр и затопили его.

— Найди мне какую-нибудь комнату, — тихо попросил меня Маркиш, — и никого туда не пускай.

Мы спустились за сцену, открыли чью-то гримерную. Потом я вышла.

Там, в гримерной, под шарканье тысяч и тысяч ног, Маркиш написал первые четверостишья стихотворения “Михозлсу — неугасимый светильник” — строки, пророчески предопределившие и его собственную судьбу...

Вскоре в Москву приехала Ирина Трофименко, пришла ко мне и рассказала: в день смерти Михозлса, ничего не зная о случившемся, она повела своих детей в музыкальное училище. В середине урока в класс вошел Сергей Трофименко, вызвал жену в коридор.

— Убили Михозлса! — сказал он. — Езжай домой, дай телеграмму в Москву, жене Соломона Михайловича!

Вслед за тем Сергей вернулся в штаб, а Ирина с детьми — домой. Не успела она закончить текст телеграммы, как позвонил Сергей.

— Телеграмму еще не отправила? — спросил Сергей. — Не отправляй!

Приехав обедать, Сергей объяснил: позвонили из ЦК, телеграмму отправлять “категорически не рекомендовали”.

В 1956 году, уже после моего возвращения из ссылки, я снова встретилась с Ириной Трофименко. Сергей к тому времени умер. Ирина вдовствовала. В ее доме собрались в тот вечер бывшие сослуживцы Сергея, среди них — высокопоставленный генерал, служивший под началом Трофименко

в Минске. Он рассказал мне, почему Трофименко запретили посылать вдове Михоэлса телеграмму:

— В КГБ прекрасно знали, что Трофименко дружен с Михоэлсом. Знали, что последний день Михоэлс провел у Сергея, а оттуда поехал на спектакль, после которого был убит. Знали, что убийство, по приказу Берия, по поручению Сталина, организовал министр госбезопасности Белоруссии грузин Цанава. Не знали только еще, как будут реагировать на убийство “наверху”, а потому не советовали командующему округом спешить с телеграммой.

— Но откуда они узнали, что он хочет послать телеграмму? — спросила я. Генерал усмехнулся:

— А вы бы хотели, чтобы шофер командующего округом не передавал каждое его слово в КГБ? Сергей, наверняка, сказал Ирине об этой телеграмме в присутствии шофера...

Стихотворение “Михоэлсу — неугасимый светильник” перевел на русский язык прекрасный поэт-переводчик Аркадий Штейнберг. Стихотворение это разъярило Николая Лесючевского — директора издательства “Советский писатель”, где готовился первый послереабилитационный сборник стихов Маркиша. Лесючевский — одна из самых мрачных фигур советской литературно-пропагандистской машины. Рассматривая макет книги Маркиша “Стихотворения и поэмы”, он сказал мне, указывая на титульную фотографию:

— Что это вы мне фотографию убиенного подсовываете! И цвет обложки подобрали с умыслом — кроваво-красный! Нет, этого я не допущу... И “Михоэлсу — неугасимый светильник” — стихотворение националистическое. Кто это вам сказал, что его убили? Известно, что он попал под грузовик!

После ожесточенной борьбы с Лесючевским, книга вышла такой, какой мы, я и наши дети, хотели ее видеть. Но “оттепель” скоро миновала, и из всех последующих изданий Маркиша стихотворение “Михоэлсу — неугасимый светильник” цензура систематически вычеркивала.

*Эстер Маркиш*

## **МИХОЭЛСУ — НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК**

**У гроба**

### **1**

Прощальный твой спектакль среди руин, зимой...  
Сугробы снежные, подобные могилам.  
Ни слов, ни голоса. Лишь в тишине немой  
Как будто все полно твоим дыханьем стылым.

Но внятен смутный плеск твоих орлиных крыл,  
Еще трепещущих на саване широком;  
Их дал тебе народ, чтоб для него ты был  
И утешением, и эхом, и упреком.

В дремоте львиная сияет голова.  
Распахнут занавес, не меркнут люстры в зале.  
Великих призраков бессмертные слова  
В последнем действии еще не отзвучали.

И мы пришли тебе сказать: "Навек прости!", —  
Тебе, кто столько лет, по-царски правя сценой,  
С шолом-алейхемовской солью нес в пути  
Стон поколения и слез алмаз бесценный.

## 2

Прощальный твой триумф, аншлаг прощальный  
твой...

Людей не сосчитать в народном океане.  
С живыми заодно, у крышки гробовой,  
Стоят волшебные ряды твоих созданий.

К чему тебе парик? Ты так сыграешь роль.  
Не надо мантии на тризне похоронной,  
Чтоб мы увидели: пред нами Лир, король,  
На мудрость горькую сменявшийся короной.

Не надо вымысла... На столике твоём  
Уже ненужный грим, осиротев, рыдает.  
Но Гоцмах, реплику прервав, упал ничком,  
Хоть звезды в небесах не падают — блуждают.

И, пробужденные зловещим воплем труб,  
Вдоль складок бархатных плывут их вереницы,  
Столетиям неся твой оскверненный труп,  
Шурша одеждами и опустив ресницы.

## 3

Разбитое лицо колючий снег занес,  
От жадной тьмы закрыв бесчисленные шрамы,  
Но вытекли глаза двумя ручьями слез,  
В продавленной груди клокочет крик упрямый:

— О вечность! Я на твой поруганный порог  
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.  
Следы злодейства я, как мой народ, сберег,  
Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны.

Счоти их до одной. Я спас от палачей  
Детей и матерей ценой моих увечий.  
За тех, кто избежал и газа и печей,  
Я жизнью заплатил и мукой человеческой!

Твою тропу вовек не скроют лед и снег,  
Твой крик не заглушит заплечный кат наемный,  
Боль разможенных глаз вскипает из-под век  
И рвется к небесам, как скальный кряж  
огромный.

4

Течет людской поток — и счета нет друзьям,  
Скорбящим о тебе на траурных поминах.  
Тебя почтить встанут из рвов и смрадных ям  
Шесть миллионов жертв, запытаных, невинных.

Ты тоже их почтил, как жертва пав за них  
На камни минские, на минские сугробы,  
Один среди руин кварталов ледяных,  
Среди студеной тьмы и дикой вьюжной злобы.

Шесть миллионов жертв... Но ты и мертвый смог  
Стать искуплением их чести, их страданий.  
Ты всей земле швырнул кровавый свой упрек,  
Погибнув на снегу, меж обгорелых зданий.

Рекой течет печаль. Она скорбит без слов.  
К тебе идет народ с последним целованием.  
Шесть миллионов жертв из ям и смрадных рвов  
С живыми заодно тебя почтят вставаньем.

5

Покойся мирным сном, свободный от забот, —  
Ведь мысль твоя жива и власть не утратила,  
Рэб Лейви-Ицхока свирель еще поет.  
Еще лучится твой могучий лоб Марала!

Твоей любви снега не скажут — замолчи!  
Твой гнев не заглушит пурги слепая злоба.  
Как две зажженные субботние свечи,  
Мерцают кисти рук и светятся из гроба.

Ты щуриться привык, обдумывая роль,  
Так видел ты ясней, так накапливал ты силы;  
Теперь под веками ты прячешь гнев и боль,  
Чтоб их не выплеснуть за рубежи могилы.

Блистают зеркала, и кажется, вот-вот  
Ты вновь наложишь грим к премьере величавой,  
Глазами поведешь, упрямо стиснешь рот  
И в небо звездное шагнешь, как прежде, "с правой"!

Распадом тронуты уже твои черты.  
Впитай же музыку в себя, ручьи мелодий  
Из "Веньямина Третьего", — не даром ты  
Любил истоки их, живущие в народе!

Под этот струнный звон к созвездьям взвейся ввысь!  
Пусть череп царственный убийцей продырявлен,  
Пускай лицо твое разбито, — не стыдись!  
Не завершен твой грим, но он в веках прославлен.

Сочащаяся кровь — вот самый верный грим.  
Ты и по смерти жив, и звезды ярче блещут,  
Гордясь последним выступлением твоим,  
И в дымке заревой лучами рукоплещут.

Какой-нибудь из них, светящей сквозь туман,  
Ты боль свою отдашь, и гнев, и человечность.  
Пред ликом Вечности ни страшных этих ран,  
Ни муки не стыдись. Пускай стыдится Вечность!

## 7

Распахнут занавес... Ты не для смертной тьмы  
Сомкнул свои глаза. И дар твой благородный  
С благоговением воспримем ныне мы,  
Как принял ты и нес бесценный дар народный.

Тебе со сценою расстаться не дано.  
Ты прорастешь в века, впоен родимым лоном,  
Исполнен зрелости, как спелое зерно  
Под небом благостным, на поле пробужденном.

Мы никогда в твою не постучимся дверь,  
Мы больше к твоему не соберемся дому, —  
Без стука в сердце мы в твое войдем теперь,  
Открытое для всех, доступное любому,

Доступное, как лес, как пена вольных вод,  
Как солнце; и с тобой, с мечтой о лучшей доле,  
В бескрайний небосвод, в грядущее — вперед!  
Всем человечеством, как в золотой гондоле!

1948

*Перевод Аркадия Штейнберга*

## ПИСЬМА

От редакции: контакты с евреями, оставшимися в России, радуют нас не только как свидетельство нашей непрерывающейся с ними связи и их постоянного интереса к нашему делу, но и тем, что расширяют наше представление о их жизни сегодня и дают нам лучшее понимание их ситуации. Ниже публикуются два из полученных за последнее время редакцией писем. Первое из них пришло открытой почтой, с уведомлением о вручении.

*Уважаемая редакция!*

*Недавно мы с женой познакомились с одной из Ваших книг — “Контурь Талмуда” А. Штайнзальца. Мы интересуемся книгами религиозного содержания, однако не зная иврита и не имея возможности получать книги на русском языке о религии и для изучения иврита, нам крайне затруднительно изучать родную историю.*

*Из последних страниц Вашей книги я понял, что Ваше издательство широко печатает замечательные книги на русском языке, которых мы, к сожалению, лишены. Поэтому я и решил написать Вам письмо с просьбой.*

*Возможно, что Вы не имеете возможности нам помочь, тогда не могли ли бы Вы подсказать, к кому обратиться. Желающих изучать язык и приобщаться к религии много, а литературы, к сожалению, нет.*

*Если это имеет значение для Ваших решений, то сообщая, что нашей семье отказано в выезде для воссоединения семей.*

*(Подпись)*

*19 сентября 1983 года*

Второе письмо, отрывок из которого приводится ниже, прислано в редакцию одним из подписчиков, которому оно было адресовано.

*25.08.83. Дорогой..., шалом рав в'хаг sameах! Привет тебе, всем твоим чадам и домочадцам. Л'шана тов'а тикатеву в'тэхатему! Как тебе уже известно, недавно я безрезультатно просидел часа четыре на переговорном. Меня уже, было, пригласили в кабину, где просидел я минут 20. Потом попросили из оной выйти и подождать в зале. Еще через 2 часа сказали, что могу я идти домой: “нет связи”. Не знаю, будет ли у тебя возможность звонить еще в свете всех будущих гзером в'кицуцим батактив. Если уж дошло до того, что у несчастных профессоров отнимают их шабатоны (слышал я, как один из них объяснял в программе “Мединат Исраэль...” все жуткие последствия для общества этого рокового шага), то отрезать кусочек от так называемой “месоравэй алия” и Бог велел. Но если такая возможность будет, то персонально для тебя я свое вето снимаю, звони на дом. А письма твои, в общем, доходят. Правда, последнее... пришло в конверте с аккуратно срезанным бочком, и сдается мне, что твои пакибы не бросили своих нехороших привычек... Ну, а что нового у общих друзей и знакомых? Основное ты знаешь, и ничего существенного пока не произошло. Настроение у*

всех не блестящее, но и носа не вешают. Твои письма читаем вместе и с неизменным удовольствием. Правда, давно что-то от тебя ничего нет, но никто не сетует: ясно, что неприбытие писем еще не значит их неотправление. И даже если означенное неотправление (или как выразились бы наши бюрократы "недоотправление") и имеет место, опять же все понимают, что и на то есть веские причины. Лимудим я начну как всегда осенью и эх! — как много мне еще нужно. Словари: Шапиро, Дрор, Керен. "Милон амами" Эвен-Шошана. Это минимум, нужный каждому серьезному ученику. Уже два месяца ничего не получал. Кому я только ни объяснял, что часы тикают, что сегодня я еще могу что-то получить, а что будет завтра? И все равно: как ты сам как-то написал "хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...". Есть, говорят, Брит иверит оламит. Мы-то о ней слышали, а она о нас? Вообще как поется в песне "лиф'амим ани нишбар". Было как-то тут у меня пара бездельных дней, я валялся вверх пузом и слушал решет бет неотрывно. И чего же я наслушался? Ну, приса м'хадаш, а также, естественно, такцив — это дела действительно серьезные, что и говорить. И вообще немало хороших передач, я к примеру обожаю "хатул б'сандалим"! Бывают прекрасные литературные передачи (хотя их-то мне понимать иногда очень трудно, язык еще слабоват), и концерты, да и "Коль цивэй ха-решет" бывает очень сделан неплохо. Вообще качество израильского радио, мне кажется, довольно высокое, повыше, чем в Европе, включая хваленую Би-Би-Си. Но я сейчас не о качестве, а кое о чем другом. Ну, вот идет шидур хай, и диктор говорит о какой-то поп-звезде, что почтила Иерусалим своим выступлением. Звонит девушка, излагает свои впечатления от одного концерта, у нее аж от восторга упали трусики. "А у подруг?" "А подруги сами попадали". Потом что-то вроде "По странам и континентам". Маститый профессор Еврейского университета по географии рассказывает о теме, исключительно важной для Израиля и еврейского народа в целом: наводнения в Китае. Почему они такие опустошительные и почему с ними так трудно бороться. Теперь я знаю об этом больше, чем большинство китайцев. Много полезного я узнал и о проблемах гренландских эскимосов и т. п. Об одном лишь не узнал я ничего, и ты уже догадался, о чем... Ну, что я не узнал, это не беда. Беда, что не узнали твои сограждане. Конечно, мы живем в не столь экзотическом месте как Китай или Гренландия, но если о нас забудет наша страна, то та тоненькая ниточка, на которой держится наша жизнь, может оборваться. И придется делать пристройку к зданию Яд Вашем. Ну, пусть не рядом с бюджетом и перераспределением (хотя если по "большому счету", то надо бы рядом), пусть после них, но перед Китайскими наводнениями. Но не было ни перед, ни после, не было вообще. И уж конечно эти горькие мысли возникли не за эти два дня, за эти дни они лишь оформились. И когда Дина Бейлина (тоже из тех немногих, что надеются прошибить лбом стену) сбивчиво говорит о том, что "некоторая апатия израильцев связана с периодом отпусков" я-то знаю, что дело не в отпусках, как знает и она. И когда Арье (кажется это был он, а может Реувен) говорит о проекте ввести специальную передачу о проблемах нашего брата, я думаю, что после этой передачи ни у одной девушки ничего не упадет. Потому, что все шидурим тут не при чем. Просто люди не воспринимают это как свое горе, мы для них неинтересны, и

одна из причин этого — нешира, будь она проклята. И все же хорошо бы, чтобы Арье оказался прав. Ведь кроме большинства есть и меньшинство, и хорошо бы, чтобы оно не уменьшалось еще больше...

### По поводу письма М. Агурского

*Уважаемый господин редактор!*

*Когда вы предложили мне ответить на критику моего оппонента, я, было, отказался — надо заниматься общественно-полезным трудом, а времени, как всегда, недостаточно. Но узнав, что оппонентом является ни кто иной, как господин Агурский, я не мог отказать себе в удовольствии ответить ему: сквозь категоричность (и претенциозность) суждений господина Агурского проступает и проявляется совершеннейшее незнание советской истории и ее непонимание.*

*Господин Агурский в своем письме ("22" № 30) оценивает и анализирует мою статью "Юрий Андропов — путь к власти" без явного угодничества к ее автору, — как человек, находящийся в полном согласии с миром своих знаний и убеждений. Вопрос, однако, в том: находится ли мир советской действительности в соответствии с идеями господина Агурского?*

*Здесь, к сожалению, не просматривается гармония. Господин Агурский от имени некоего обобщенного читателя — возможно израильского, но не исключено и международного (завидная скромность!) — призывает ученых публиковать "научно-достоверные" (выражение М. Агурского) сведения, но сам не смог остаться на уровне "научно-достоверной" информации.*

*Господин Агурский решительно оспаривает содержащееся в моей статье утверждение, что Андропов был ставленником Куусинена, только на том основании, что занимаемая Куусиненом должность председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР не позволяла ему заниматься вопросами расстановки кадров в республике.*

*"Это утверждение противоречит известным законам функционирования советской политической системы", — пишет господин Агурский, не видя и не представляя, что само его утверждение, категоричное и безапелляционное, противоречит научному познанию вообще и исследованию советского общества в частности.*

*"Законов функционирования советской политической системы" как таковых, о которых говорит господин Агурский, нет в реальной советской жизни. Они существуют в представлении (и учебниках политграмоты) советской философии, а есть и проявляются в советской социальной жизни глубоко субъективированные тенденции, определяемые личностью конкретного правителя СССР. Ленин стоял над партийными уставами и традициями и не будучи официально главой Российской коммунистической партии, определял ее политику.*

*Куусинена же как лидера московские власти сознательно подняли над партийными условностями Карело-Финской ССР, готовя его в президенты несостоявшейся советской Финляндии. Должность председателя Президиума Верховного Совета Карелии была удобным трамплином (Верховный*

Совет в Советском Союзе является декорумом народовластия) для прыжка в президенты коммунистической Финляндии. Надо обладать поразительной неосведомленностью господина Агурского, чтобы не знать, что Куусинен был одним из основателей финской компартии и одним из секретарей Коминтерна с 1921 по 1939 год. И только в качестве виднейшего лидера международного коммунистического движения (а не как председатель Президиума Верховного Совета Карелии) он становится в 1941 году членом ЦК ВКП (б), а в 1952 году, все еще пребывая в опереточной Карельской республике, — членом Политбюро (тогда Президиума ЦК КПСС). Господин Агурский, по-видимому, не понимает, что в соответствии с партийной номенклатурой председатель Президиума советской республики не вправе быть членом или даже кандидатом в члены Политбюро. А пост председателя Президиума Верховного Совета Карелии должен был послужить ему выгодной социальной маской для советизации Финляндии.

Впрочем “наивность”, вернее — некомпетентность господина Агурского просматривается и в многочисленных искажениях советской истории, содержащихся в его письме — их много больше, чем можно было предполагать в контексте крохотной рецензии в полторы страницы.

Господин Агурский заявляет, что в 1939 году Андреев назначил Патоличева секретарем Ярославского обкома КПСС. И не ведает господин Агурский, что не в силах был Андреев своей властью назначать секретарей обкомов — это была (и остается в СССР и поныне) — прерогатива Политбюро ЦК, а в те годы еще и — сфера деятельности Секретариата Сталина. Андреев не вправе был даже формально представлять кандидатуры секретарей обкома для утверждения на Политбюро. Это входило в функции Маленкова, назначенного в 1939 году секретарем ЦК ВКП (б) и начальником Управления кадров ЦК ВКП (б).

Господин Агурский утверждает, что должность секретаря ЦК Комсомола Украины являлась “вторым по важности” постом в комсомоле. И опять неточность. “Второй по важности” пост в комсомоле — второй секретарь ЦК ВЛКСМ, третий по значению — третий секретарь ЦК ВЛКСМ — по модели ЦК КПСС, с которой “раскроен” и “сшит” ЦК Комсомола.

Господин Агурский сообщает, что должность второго секретаря Петрозаводского обкома партии является “крайне незначительной должностью” на том основании, что в городе Петрозаводске жило 50 тысяч человек. И вновь — непонимание советских механизмов власти. Должность второго секретаря обкома (или горкома) столицы Союзной советской республики чрезвычайно важна и авторитетна и отнюдь не всегда находится в пропорции с количеством населения (в научном анализе количественный подход без качественного осмысливания явлений ведет к серьезным заблуждениям).

Господин Агурский сообщает, что “Маленков в 1946–1947 годах был оттеснен от власти Ждановым”, а Патоличев играл роль “баланса” между ними. В одном предложении — три ошибки. В 1946 году Маленков не только не был “оттеснен от власти” Ждановым, а напротив, еще более утвердился и укрепился в ней: именно в марте 1946 года Маленков впервые был избран членом Политбюро ЦК ВКП (б), сосредоточив под своим контролем не только партийный, но и государственный аппарат, — в качестве секретаря ЦК и заместителя председателя Совета Министров СССР. Патоличев же не мог

быть "балансом" между Ждановым и Маленковым потому, что политическая "весовая категория" Патоличева была слишком слаба, он не был ни кандидатом, ни членом Политбюро и в аппарате ЦК ВКП (б) занимался вопросами, далекими от компетенции Маленкова и Жданова — сельским хозяйством в статусе секретаря ЦК и заместителя председателя — даже не председателя — Совета по делам колхозов при советском правительстве.

И наконец вообще в 1946 году не было необходимости в "балансе" между Маленковым, курировавшим партийные кадры, и Ждановым, опекавшим идеологию.

Весьма примечательна (и характерна) для господина Агурского система его научного мышления. Она основана (судя по письму) на весьма оригинальном способе доказательства, основанных на таких суждениях, как "легко догадаться", или же на голословных утверждениях, или на приписывании автору (в данном случае — мне) собственных мыслей. Например, Агурский пишет: "Автор (то есть, конечно же, Земцов) допускает фактические (и принципиальные) ошибки и при описании следующих этапов карьеры Андропова". И в подтверждение столь обобщенного заявления приводит единственный факт и притом — неверный. "Ему, — пишет господин Агурский (то есть опять — Земцову) — очевидно не известен тот факт, что когда Андропов был в 1951 году переведен в ЦК ВКП (б), он получил должность в Отделе контроля парторганов". Не было никогда, господин Агурский, в аппарате ЦК Отдела контроля парторганов, а был в соответствии с реорганизацией ЦК в 1948 году Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов, позднее преобразованный в Отдел организационно-партийной работы, который ведал назначениями партийных, комсомольских и профсоюзных работников и осуществлял надзор над партийным аппаратом. Именно в этот отдел, как я и писал в своей статье, в качестве инспектора по кадрам был переведен Андропов в 1951 году.

Господин Агурский "творчески" интерпретирует мои высказывания. Он пишет: "Земцов неверно... датирует назначение (Андропова. — И. З.) 1948-м годом". Хотелось бы заверить господина Агурского, что я, как и он, читал биографическую справку об Андропове в календаре-справочнике, изданном издательством "Политическая литература" в Москве.

В тексте моей статьи нет подобного высказывания. В ней отмечается другое. "Суслов представил его (Андропова. — И. З.) Маленкову, и в 1948 году Андропов — уже второй секретарь ЦК Компартии Карело-Финской ССР" (почти до самого конца 1947 года Андропов все еще исполнял обязанности секретаря Петрозаводского обкома партии). Но не следует требовать от господина Агурского знания и понимания лингвистических тонкостей: он не филолог.

Что же касается логики господина Агурского (судя по его письму), то, видимо, он считает ее наукой греческой, не обязательной для рецензии, напечатанной в Израиле. Так, господин Агурский утверждает, что "если бы Андропов был человеком Маленкова (я писал: Маленкова и Суслова, но М. Агурскому угодно было представить Андропова протеем только Маленкова), он вряд ли пережил бы (политически) падение своего покровителя в 1955 году". Хотелось бы заверить и успокоить М. Агурского: пережил бы, так же как пережил его политически чуть ли не на тридцать лет другой его

ставленник — небызвестный Леонид Брежнев и вместе с ним еще не один десяток креатур Маленкова в Москве и в провинции. В советской политической жизни прошлое (заслуги или ошибки) — вне игры. Карьера, а часто — жизнь определяются позицией партийного деятеля в настоящем. И в том настоящем 1955 года (теперь уже ставшим прошлым) Андропов был не с Маленковым — он вообще находился на дипломатической работе "далеко от Москвы".

Вместе с тем, читая письмо-рецензию господина Агурского, я не мог не испытывать определенное уважение к его автору. Во-первых, за то, что дискуссия — по форме — ведется господином Агурским (наконец!) в академических рамках — без навешивания политических и социальных ярлыков (такое выражение, как "политическая фантастика" в лексиконе господина Агурского не следует рассматривать как бестактное). И во-вторых, за то, что письмо Агурского в журнале "22", как говорят, заметно увеличивает тираж моей книги "Андропов" и привлекает к ней внимание читателей.

С уважением

Илья Земцов

### Книготороварищество "Москва—Иерусалим"

предлагает следующие книги

**НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ПРАХ И ПЕПЕЛ"** (192 стр.) — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете, две из вошедших в сборник пьес были с успехом поставлены в Нью-Йорке, две в Иерусалиме и по одной снят художественный фильм в ФРГ.

**ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. "УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА"** (176 стр.) — опубликование в журнале "22" первой части этой горькой повести вызвало бурю споров в израильской и эмигрантской печати, что не помешало признать безусловный талант автора. цена 10 долларов

**ИЛЬЯ РУБИН. "ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ"** (300 стр.) — посмертное издание творческого наследия безвременно скончавшегося поэта и эссеиста, одного из лучших в эмигрантской литературе, чьи блестящие и острые статьи вызывали яростную полемику в печати. цена 7 долларов

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. "ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ"**, издание второе, переработанное и исправленное (192 стр.) — точная и насмешливая философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии интеллигента, сформировавшегося в советской России. цена 8 долларов

**ЗАКАЗ НА КНИГИ И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW—II RUSALIM", СЛЕДУЕТ ВЫСЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW—JERUSALIM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.**

## ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

В ближайших номерах: роман Тадеуша Конвицкого "Малый апокалипсис", повесть Бориса Полякова "Автопортрет с Юлей", глава из романа Юрия Милославского "Сведения, исходящие от Петрова", пьеса Феликса Розинера "Эль и Аль", рассказы Ханوخа Левина "Четыре романтические истории на садовой скамейке" и другие произведения, статьи, очерки, воспоминания и рецензии лучших авторов русскоязычного Израиля и Зарубежья.

Условия годичной подписки: в Израиле 2400 шекелей (можно в 2 чека с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов (авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар), для организаций — 44 доллара. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", P.O.B 7045, Рамат-Ган, Израиль).

### КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Инфляция ставит под угрозу существование нашего журнала. Мы просим всех, заинтересованных в его сохранении, помочь нам пожертвованиями, которые, независимо от их размера, будут приняты с искренней и глубокой благодарностью.

В сентябре-октябре получены следующие пожертвования: Л. Лурье-Клибанов (Иерусалим) — 300 шек., В. Шаргородская (Иерусалим) — 200 шек., Н. Байтальская (Нагария) — 1000 шек., д-р Цыкин (США) — 10 долл., С. Рахлин (США) — 25 долл., А. Кагановская (США) — 15 долл., Л. Шемкович (США) — 10 долл., Н. Броншвач (США) — 10 долл., С. Цитронблатт (Франция) — 5 долл. Мы благодарим наших друзей. Наша особая благодарность давнему подписчику В. Элиашбергу (США), пожертвовавшему в Фонд "22" 400 долларов.

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № . . . . .

Прилагаю чек (чеки) №. . . . . на сумму . . . . .

Журнал прошу выслать по адресу . . . . .

. . . . .

. . . . .

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала . . . . .  
(фамилия)

